

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Эрий Колкер

АЙДЕССКАЯ ПРОХЛАДА

**К 95-летию со дня рождения Владислава Ходасевича
(1886 - 1939)**

...в кликушестве моды его заслоняют все школы (кому лишь не лень): Маяковский, Казин, Герасимов, Гумилев, Городецкий, Ахматова, Сологуб, Брисов — каждый имеет ценителей. Про Ходасевича говорят: "Да, и он поэт тоже...". И хочется крикнуть: "Не тоже, а поэт Божьей милостью, единственный в своем роде".

Андрей Белый. Рембрандтова правда наших дней (о стихах В.Ходасевича), 1922.

Ходасевич... — величайший из современных русских поэтов.

М.Горький. Письмо к редактору бельгийского журнала Зеленый Круг, 1923.

Настало время, когда слова "один из драгоценнейших русских поэтов", сказанные некогда над прахом Блока, хочется связать с именем того, кто их произнес, — с именем Владислава Ходасевича. У нас есть для этого серьезные основания. Быть может, важнейшее из них отметил Андрей Белый в своей первой статье о Ходасевиче: **духовность**, по Белому, резко выделяет стихи Ходасевича среди стихов прочих поэтов тех лет, которые — в лучшем случае — только **душевные**, т.е. метафоричны, предметны, пестры; в худшем — суетны. Ходасевич идет "до последней черты правдивейшего отношения к себе как к поэту", и его итог — "отравление духовного мира" (А.Белый). Мне кажется, что именно к требованию духовности сводится основной эстетический запрос в последней четверти XX века, и если слова Андрея Белого верны, то Ходасевич — наш современник.

Но духовно-эстетический запрос вечен (а его сегодняшняя острота временна: она вызвана духовным голодом предшествовавших десятилетий). Поэтому, вероятно, Ходасевич будет осознан как современник и нашими отдаленными потомками, пусть в меньшей мере, чем нами; и они, надо думать, увидят, что "самоновейшее время не новые черты поэзии вечной есте-

ственно подчеркнуло; и ноты правдой поэзии, реалистической (в серьезнейшем смысле) выдвинуло как новейшие ноты" (А.Белый).

Духовное противостоит в человеке телесному, преодолевает и, в конечном итоге, отрицает телесное. Но это противостояние — результат длительного и мучительного опыта; самое разъединение двух составляющих человека начал, двуединство зерна, есть признак зрелости, оно рождается из страданий. Поэтому Ходасевич, как правило, непонятен молодым. Молодость сторонится страданий; она синкретична, дух и плоть сливаются в ней под знаком плоти. Иллюзия новизны — упругие мысли, энергичные слова — заслоняют от нее сущностное видение мира. Что скажут двадцатилетнему читателю такие вот ненавязчивые строки? —

Безветрие, покой и лень,
Но в ясном свете
Откуда же ложится тень
На руки эти?
Не ты ль еще томишь, не ты ль,
Глухое тело?
Вон — белая взметнулась пыль
И полетела.
Взбирается на холм крутой
Овечье стадо...
А мне — айдесская сквозь зной
Сквозит прохлада.

Айдесская прохлада, пронизывающая каждую точку поэтического пространства Ходасевича начиная с 1916, — не одно только предчувствие смерти, вызванное ранней зрелостью: она — присутствие вневременной и внепространственной субстанции, ее живое дыхание. В этом многозначительном символе я вижу ключ к пониманию не только творчества, но и жизни поэта.

Однозначного отношения к Ходасевичу не установилось — здесь кроется одновременно и причина и следствие его жизнеспособности. Поэзия живет пристрастиями и вряд ли нуждается в табели о рангах. Крайности в оценках часто закрывают читателям доступ к поэту. Но вполне отказаться от оценок нельзя. Нельзя отрицать существования первого ряда русских поэтов, сонма дорогих теней, вызывающих айдесский ветер, приводящих в движение целые пласты нашего сознания — и сообщающих смысл словосочетанию: Русская Поэзия. И вот к этому — не вполне очерченному — первому ряду с

полной убежденностью (и пристрастием) я и отношу Ходасевича. Там, "в тех садах за огненной рекой"¹, он как равный выдерживает соседство с Блоком и Кузминым, Ахматовой и Мандельштамом.

Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жилье
И страшным братьям заявляет
Равенство гордое свое.

Настало время убедиться — или разувериться в этом... Необходимо вспомнить Ходасевича во всей мыслимой полноте. Его стихи не собраны и не изданы, его биография не написана — вместо нее имеем мозаику, разрозненные фрагменты и осколки воспоминаний; многие черты ее стираются на наших глазах, и уже невозстановимы: последние из людей, близко знавших поэта, вступили в очень пожилой возраст. Между тем его творческая судьба, его опыт, приобрели для нас к середине 70-х годов остроту, которой не могло быть прежде, и нуждаются в скорейшем переосмыслении.

При жизни поэта, с 1908 по 1927, вышло пять книг его оригинальных стихотворений, общим числом около двухсот. Это немного. Стихи, не вошедшие в книги, рассеянные в отечественных периодических изданиях с 1905 по 1924, а также стихи и наброски последних лет, включенные Н.Н.Берберовой в посмертное издание в 1961, могли бы увеличить этот список еще на сорок-пятьдесят пьес; столько же падает на переводы; но и тогда это будет немного. И все-таки я убежден: ни одна серьезная антология русской поэзии не может состояться без стихов Владислава Ходасевича, лучшие из которых... — я с грустью прохожу мимо этой соблазнительной и спекулятивной возможности — ...хотелось бы назвать гениальными.

Но если даже вообразить, что большая часть поэтического наследия Ходасевича утрачена или отвергнута, то и тогда он сохранит свои права на нашу благодарную память — как литературовед, мемуарист, критик, переводчик. В каждом из этих своих качеств он был незауряден. Им написано около трехсот литератур-

¹Здесь и далее в тексте в кавычках, не снабженных ссылкой, приводятся вкрапления из стихов и прозы Ходасевича.

ных статей, на его счету подлинныя открытия в пушкиноведении. Без преувеличения, он оставил нам "образцы той критической мысли и того критического стиля, которых так мало всегда было в нашей литературе и которые сейчас ушли из нее вовсе" (Н.Н.Берберова). Производительная литературоведческая мысль не оставляет Ходасевича и при написании воспоминаний: они переплетаются с исследованием. Здесь, кроме того, обнаруживается его редкая наблюдательность и удивительное знание человеческой природы — то особое знание, которое немислимо без любви к людям. Если отличительная черта поздних стихов Ходасевича — духовность, то в прочих его трудах особенно рельефно выступает их добросовестная сдержанность — столь же неотъемлемая черта его стиля, его таланта. Вот предисловие к последней, очень важной, прижизненной² книге Ходасевича:

Собранные в этой книге воспоминания о некоторых писателях недавнего прошлого основаны на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах. Сведения, которые мне случалось получать из вторых или третьих рук, мною отстранены. Два-три незначительных отступления от этого правила указаны в тексте.

В.Ф.Ходасевич. Некрополь. Воспоминания. ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1976.

Духовность и сдержанность — поразительный сплав! Кого из поэтов начала XX века можно упрекнуть в сдержанности? Упрекнуть — потому что разнузданность сделалась в те годы как бы симптомом таланта, и это соответствие удержалось в обывательском сознании до наших дней... Эти два качества — лишь край спектра творчества Ходасевича. Заключенную между ними смысловую гамму лучше всего рассматривать во временной развертке, выслушивая попутно всех, кто пожелает высказаться; мы, как уже сказано, должны вспомнить Ходасевича: имя, которым по праву могла бы гордиться Россия, ею в настоящее время полузабыто.

²Впервые Некрополь был издан в Брюсселе в 1939.

+ + +

Ходасевич В.Ф. (род.1886) - поэт-декадент, после Октябрьской революции - эмигрант.

Примечание к: М.Горький. Собр.соч. в 30 томах, т.29, стр.633, М., Худ.лит. 1954.

Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим.

А.С.Пушкин

Я вижу три основных (и неразрывно связанных) причины последовательной неблагодарности соотечественников замечательного поэта. Первое: Ходасевич умер в эмиграции. Как и очень многие, он не был врагом революции, но не мог принять конкретных форм ее воплощения. -

Немало доброго принесла революция. Но все мы знаем, что вместе с войной принесла она небывалое ожесточение и огрубление во всех без исключения слоях русского народа. Целый ряд иных обстоятельств ведет к тому, что как бы ни напрягали мы силы для сохранения культуры - ей предстоит полоса временного упадка и помрачения.

В.Ф.Ходасевич. Колеблемый треножник. Речь на Пушкинском вечере в Доме Литераторов 14 февраля 1921 г. - В кн.: Статьи о русской поэзии, Пб., Эпоха, 1922.

Он был культурным, а не политическим эмигрантом. Ориентация на вечные ценности оградила его от сомнений, отчаянья, злобы. Пожалуй, трудно назвать другого писателя, с таким спокойным достоинством сносившего тяготы своего добровольного изгнания. Советская литература с неудовольствием вспоминает Ходасевича еще и потому, что вместе с ним всплывает в памяти тщательно маскируемый фрагмент агнографии Горького, которого я коснусь отдельно. - Второе: Ходасевич был и навсегда остался поэтом для немногих. Он искал читателя, в чем-то главным равного себе. Сознательно сторонясь спекулятивных моментов в искусстве, он не хотел ни удивлять, ни поучать. Высокомерие, ошибочно усматрива-

емое в такой позиции, в соединении с крайним — поистине пушкинским — индивидуализмом Ходасевича дало советской критике единственный и желанный повод назвать его декадентом. — Третье, и едва ли не главное: его независимость. В одиночку, не опираясь ни на кого из своих современников, руководствуясь только своим внутренним голосом, проделал он свой путь в жизни и в искусстве. Он не склонил головы перед народными кумирами своего времени — в том числе и перед теми, от кого целиком зависела его посмертная судьба на родине. Уже в начале 1910-х не было литератора, в большей мере свободного от групповых интересов, от политических и литературных настроений эпохи. Несколько позже, в 1923, он прямо установит свою политическую независимость в следующем прогрозном стихотворении (где, между прочим, предугаданы вторая мировая война и породившие ее укасы твердой власти):

Сквозь облака фабричной гари
Грозя костлявым кулаком,
Дрожит и злится пролетарий
Пред изворотливым врагом.
Толпою страхи ненадежной
Великолепье окружа,
Упрямый, но неосторожный,
Дрожит и злится буржуа.
Должно быть, не борьбою партий
В парламентах решится спор:
На европейской ветхой карте
Все вновь перечеркнет раздор.
Но на растущую всечасно
Лавину небывалых бед
Невсемутию и бесстрастно
Глядят историк и поэт.
Людские войны и союзы,
Бывало, славили они.
Разочарованные Музы
Вспомнили им эти дни —
И мне, гордые, составить
Два правила велели впрод: —
Раз: победителей не славить.
Два: побежденных не жалеть.

"Х. отстаивал право "историка и поэта" быть выше современности", поясняет Краткая Литературная Энциклопедия. Свобода эта, естественно, сделала его архаичным в глазах представителей всех современных ему школ — зато приблизила к нам. Независимость в

литературе вообще всегда означает некоторый пассеизм (этот термин в связи с Ходасевичем употребил Г.Чулков в 1914), поиск точки опоры в прошлом, без которого непонятны настоящее и будущее. Чем глубже в прошлое проникает осмысляющий взгляд художника, тем жизнеспособнее и долговечнее его творчество.

Видно, что все три причины имеют одну природу. Каждую из них я постараюсь иллюстрировать и дополнить.

+ + +

Не матерью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна...
(1917-1922)

Я не пишу исследования, но и не хочу
быть голословным.

Некрополь

Владислав Фелицианович Ходасевич родился (16) 28 мая 1886³, в Москве, в семье предпринимателя, польского уроженца во втором поколении. Его отец, Ф.Ходасевич, в молодости готовился стать художником: занимался у Ф.Бруни в Академии Художеств в Петербурге; однако женившись, открыл в Туле фотографический магазин (возможно, унаследовав дело от тестя, Я.Брафмана, свою головокружительную карьеру начавшего бродячим фотографом). Будущий поэт был шестым ребенком в семье. Его дед по отцу, дворянин, участник польского восстания 1863 года, был сослан в Сибирь, затем обосновался в Туле. Примечательной фигурой был дед поэта по матери, Яков Александрович Брафман, памфлетист, известный своими нападениями на евреев. Его главный труд, Книга Кагала (1869), не вполне добросовестный очерк, основная идея которого — опасность еврейского самоуправления, пользовался большой популярностью в царствование императора Александра II, способствовал росту антисемитизма, а его автору, бедному выкредиту, доставил русское дворянство и кресло в Императорском Географическом Обществе.

³Дата рождения приведена по автобиографии, хранящейся в ЦГАЛИ, ф.537, оп.1, № 126.

Родители Владислава Ходасевича были польскими католиками, русский язык в семье перемежался с польским, Мицкевич соседствовал с Пушкиным. В 1934, в статье, посвященной столетию Пана Тадеуша, Ходасевич рассказывает о своем детстве:

Несколько впечатлений, которые мне сейчас вспоминаются, относятся к самой ранней поре моей жизни, к тому времени, когда я еще не ходил в детский сад, с которого началось мое, уже безвозвратное, обрусение.

По утрам, после чая, мать уводила меня в свою комнату. Там, над кроватью, висел в золотой раме образ Божьей Матери Остробрамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я по-польски читал Отче наш, потом Богородицу, потом Верую. Потом мне мама рассказывала о Польше и иногда читала стихи...

В.Ф.Ходасевич. Литературные статьи и воспоминания. Издательство им.Чехова, Н.И., 1954.

Глубокая религиозность матери передалась поэту и сопутствовала ему до конца. В юношеском стихотворении Осень (1907), еще не вполне самостоятельном, прекрасно переданы приподнятость, душевная легкость и умиротворение, навеянные утренним посещением костела, — возможно, того самого, в Милютинском переулке, куда в детстве водила его мать. "По происхождению поляк, католик — он и похоронен в Париже по католическому обряду..." (Зинаида Шаховская. Отражения. ИМКА-ПРЕСС, 1975).

Семья Ф.Ходасевича была состоятельной. Переезд из Тулы в Москву был, вероятно, связан с расширением дела. З.А.Шаховская, любезно согласившаяся ответить на некоторые мои вопросы о Ходасевиче, сообщает в своем письме от 20.03.81: "Ходасевич родился в зажиточной семье и то, что Берберова называет "лавкой" отца Владислава, была первым в Москве магазином фотограф.аппаратов, а затем, кажется, была при ней и картинная галерея. Студент Ходасевич был скорее "белоподкладочником"...".

Сохранилась канва автобиографии — конспективная запись основных событий и впечатлений жизни поэта, сделанная им в 1922 по просьбе его третьей жены Н.Н.Берберовой, накануне их отъезда в Европу⁴. Из нее видно, что читать он научился трех лет, в 1889. В 1890-91, побывав на балете Конек-горбунок, увлекся танцами —

⁴В книге: Н.Н.Берберова. Курсив мой. Автобиография. Центрифуга. Мюнхен, 1972, стр.168-171.

упоминание об этом сообщит впоследствии щемящую прелесть одному из лучших его стихотворений, Перед зеркалом (1924). Первые стихи написаны им в возрасте семи лет, зимой 1893. В 1895 он переболел черной оспой, не оставившей следов на лице. Одиннадцать лет поступил в гимназию. К 1903 относится ремарка: "Стихи навсегда" — вместе с упоминанием о первой серьезной любви.

В литературную жизнь Москвы Ходасевич включился в 1902, в возрасте шестнадцати лет. В эти годы литература волновала всех, а в ней, усилиями модернистов, полное преобладание получила поэзия. Проза, как и всегда бывает в периоды общественного подъема, отступила на задний план. Зато интерес к поэзии был такой, какого Россия не знала уже восемьдесят лет. Литературная эпоха, современниками и потомками названная декадансом, была насыщена духом творчества и обновления и необыкновенно богата талантами. Общество чувствовало себя помолодевшим и требовало стихов. В Москве центром притяжения сделался Литературно-Художественный Кружок, нечто вроде открытого клуба литераторов, — с эстрадой, местами для публики, а также рестораном и игорным залом. Он существовал до 1917. По вторникам там устраивались литературные чтения, о которых говорила вся Москва. С докладами выступали Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Измайлов, Бердяев, Маковский... Гимназистов в Кружок не пускали, и Ходасевич, в ту пору ученик 7-го (выпускного) класса 3-й классической гимназии, ходил туда нелегально (для чего пришлось сшить специальный костюм). В первое его посещение докладчиком был Брюсов, а темой — поэзия Фета. Автора бледных ног приняли насмешливо: звездный час символизма был еще впереди.

Брюсов сыграл заметную роль в жизни Ходасевича. Судьба столкнула их в 1902, развела в 1921. Обид Брюсов не забывал и не прощал. В 1910 Ходасевичу пришлось взять на себя неблагоприятную роль посредника между Брюсовым и Ниной Петровской⁵, давней своей приятельницей, тогдашней любовницей Брюсова. —

⁵Нина Ивановна Петровская, по мужу Соколова-Кречетова (1884-1928) — писательница, одна из характернейших и трагических фигур символизма, прототип Ренаты из Огненного Ангела Брюсова, любовница Бальмонта (1904), Андрея Белого (1904-1905) и Брюсова (1905-1911). Покончила с собой в Париже, отравившись газом. Незадолго до самоубийства жила несколько дней в квартире Ходасевича и Берберовой на улице Ламбларди. Ходасевич назвал ее истинной жертвой декадентства.

Я знал и видел страдания Нины и дважды по этому поводу говорил с Брюсовым. Во время второй беседы я сказал ему столь оскорбительное слово, что об этом он, кажется, не сказал даже Нине. Мы перестали здороваться. Впрочем, через полгода Нина сгладила нашу ссору. Мы притворились, что ее не было.

Некрополь

В ответ Брюсов морил тяжело больного Ходасевича голодом в 1921, препятствуя переводу его писательского пайка из Москвы в Петербург —

Только спустя два года я узнал от Горького, что препятствием была некая бумага, лежавшая в петербургском академическом центре. В этой бумаге Брюсов конфиденциально сообщал, что я — человек неблагонадежный. Примечательно, что даже "по долгу службы" это не входило в его обязанности.

Некрополь

Таким же образом Брюсов сводил счеты и с другими литераторами. Критик Ю.И. Айхенвальд⁶, высланный из России в 1922, писал Ходасевичу в августе 1926: "Он сделал мне немало дурного и, когда сопричастился к сильным мира сего, некрасиво, т.е. экономически, истил мне за отрицательный отзыв о нем в одной из моих давнишних статей".

В 1904, у Брюсова, на одной из знаменитых сред, где "творились судьбы если не всероссийского, то во всяком случае московского модернизма", Ходасевич, тогда новоиспеченный студент, знакомится с Андреем Белым. "Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал." Литературным итогом их дружбы, длившейся девятнадцать лет, являются две дифирамбических статьи Белого о стихах Ходасевича, литературоведческая работа Ходасевича о прозе Белого (1927), а также мемуар Андрей Белый (1938) — блестящие, исполненные тонкого психологизма и удивительной наблюдательности воспоминания, вошедшие в Некрополь. Вот выдержка из них:

⁶ Юлий Исаевич Айхенвальд (1872-1928). Выслан в Берлин в конце лета 1922 с группой писателей и профессоров — несколько сот человек. В списке подлежащих высылке был и Ходасевич.

По некоторым причинам я не могу сейчас рассказать о Белом все, что о нем знаю и думаю. Но и сокращенным рассказом хотел бы я не послужить любопытству сегодняшнего дня, а сохранить несколько истинных черт для истории литературы, которая уже занимается, а со временем еще пристальнее займется эпохой символизма вообще и Андреем Белым в частности. Это желание понуждает меня быть сугубо правдивым. Я долгом своим (не легким) считаю — исключить из рассказа лицемерие мысли и болезнь слова. Не должно ждать от меня изображения иконописного, хрестоматийного. Такие изображения вредны для истории. Я уверен, что они и безнравственны, потому что только правдивое и целостное изображение замечательного человека способно открыть то лучшее, что в нем было. Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины. Пушкинскому "возвышающему обману" хочется противопоставить нас возвышающую правду: надо учиться чтить и любить замечательного человека со всеми его слабостями и порой даже за самые эти слабости. Такой человек не нуждается в прикрасах. Он от нас требует гораздо более трудного: полноты понимания.

Этот фрагмент можно рассматривать как эпиграф ко всем трудам Ходасевича мемуарного характера. Не только Белый, но и другие его современники — Горький, Брюсов, Есенин, Сологуб, Блок, Гумилев, Гершензон, Маяковский, вся эпоха символизма (преимущественно московского — с Ниной Петровской на его авансцене и С.В. Киссиным-Муни вблизи кулис) — не могут быть в наши дни по-настоящему поняты без этих правдивых и взыскательных воспоминаний⁷.

Дружба с Андреем Белым, долгая и плодотворная, оборвалась в конце 1923, на закате "русского Верлина", на общем прощальном обеде разъезжающихся писателей, — и оборвалась ссорой.

8-го сентября...был многолюдный прощальный обед. И на этот обед Белый пришел в состоянии никогда мною невиданной ярости. Он почти ни с кем не поздоровался... он требовал, чтобы пили за него, и потому что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа... Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою кровь.

— Только не за меня! — сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом месте его речи. — Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения.

Белый поставил свой стакан на место и глядя перед собой ненавидящими глазами, заявил, что Ходасевич всегда и всюду все поливает ядом своего скепсиса и что он, Белый,

⁷Пытаясь наметить биографию Ходасевича и его окружение, я с необходимостью касался больше его мемуаров, нежели стихов. Между тем именно стихи — первая по значению и хронологии часть его наследия.

прерывает с ним отношения. Ходасевич поблдепел. Все зашумели, прерывая факт распятия в шутку... Но Белый остановиться уже не мог: Ходасевич был скептик..., Бердяев — тайный враг, Муратов — посторонний, притворяющийся своим... С каждой минутой он становился все более невменяем...

Н.Н.Берберова. Курсив мой. Автобиография. Центрифуга.
Мюнхен, 1972, стр.186-188.

Белый уезжал в Москву: в эмиграции у него не было большее аудитории, в России — еще оставалась. Дружба с эмигрантами и полу-эмигрантами ("выбегенцами", как назвал их — и себя — В.Шкловский) могла быть поставлена ему в вину, и он рвал заграничные связи, притом не вполне корректно.

+ * +

Ровесник Гумилева, Ходасевич и печататься начал одновременно с ним: в 1905. Его ранние стихи, опубликованные в московских периодических изданиях в 1905-1906, почти совершенно неизвестны. В свою первую книгу стихов, Молодость, вышедшую в 1908 в издательстве Гриф, он включил стихи уже 1907 года (лишь одно стихотворение помечено 1906; всего в книге 35 стихотворений). Последовали две рецензии: хвалебная, хотя и с некоторыми замечаниями, — Виктора Гофмана, в Русской Мысли и сдержанно-поощрительная Брюсова в Весах. Оба критика сопоставляют Молодость с Романтическими цветами Гумилева: первый отдает предпочтение Ходасевичу, второй — Гумилеву. Оба, говоря о Ходасевиче, отмечают неожиданно старческие настроения в лирике молодого поэта — легкую, еще неопознаваемую семь айдесской прохлады, знак ранней духовной зрелости. Следующие строки в открывающем сборник стихотворении с их явной антиромантической направленностью —

В моей стране — ни зим, ни лет, ни весен,
Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей.
Там круглый год владычествует осень,
Там — серый свет бессолнечных лучей, —

несомненно, должны были прозвучать диссвансом в год мгновенного торжества символизма. Хотя символизм и представлен в сборнике не менее чем 10 стихотворениями, несколько манерными и "деланными" (В.Гофман), классицистическая струя оказывается в нем более мощной и убедительной. Разумеется, большинство стихов навеяно эротической музой.

Роль женщин в жизни Ходасевича выяснена совершенно недостаточно. Следующие строки рисуют поэта в Париже, в его последние годы. —

Тщедушный, болезненный, желчный человек (Дон Аминадо говорил, что его в России прозвали "муравьиный спирт"⁸), пользовавшийся в молодости большим успехом у женщин (первая его жена была красавица Рындина, вышедшая впоследствии замуж за Сергея Маковского), Ходасевич был проникновенный критик и прекрасный поэт, строгий мастер, безо всяких там жеманностей и лепных ненужных выражений.

Зинаида Шаховская. Отражения. ИМКА-ПРЕСС, Париж, 1975.

Его брак с Мариной Рындиной (Марине посвящена книга Молодость) был заключен не позднее первой половины 1905, когда поэту было (неполных?) девятнадцать лет. Это видно из писем к Г.И.Малицкому, недавно опубликованных Вестником РХД: в первом, от 16.06.1905, в постскриптуме приписка: "Мариночка кланяется"; во втором, от 25.06.1905, — "Мариночка тебе кланяется и зовет в Лидино усердно". Письма адресованы из именина Лидино, возле станции Бологое, в Москву. То, что брак был заключен именно в 1905, а не раньше, подтверждается любопытным эпизодом, описанным в Некрополе.

Осенью 1918, когда Горький организовал известное издательство Всемирная Литература, Ходасевича вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением "этого предприятия". Там он познакомился с Гумилевым. "Он пригласил меня к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов". Гумилев занимал тогда квартиру бывшего редактора Аполлона К.С.Маковского. Его кабинет был обставлен мебелью, некогда бывшей в Лидино, — особая, корабельной мебели, снятой в середине прошлого века с корабля адмиралом Ф.Ф.Маттишкиным, лицейским товарищем Пушкина. —

В 1905 г я сделался случайным полуобладателем этой мебели и вывез ее в Москву. Затем ей суждено было перекочевать в Петербург, а когда революция окончательно сдвинула с мест всех и все, я застал среди нее Гумилева. Ее настоящая собственница (М.Рындина — Д.К.) была в Крыму.

Некрополь

⁸В действительности — в Берлине, а не в России. "Еще в Берлине Виктор Шкловский сказал о Ходасевиче, что у него вместо крови — муравьиный спирт." (В.Андреев. Возвращение в жизнь. Звезда, 1969, № 6.)

Оба, Ходасевич и Рындина, были в 1905 молоды, несамостоятельными и заражены символическим легкомыслием. Их союз был случаен и распался так же легко, как и возник, — без взаимного ущерба сторон. Однако активная роль в разрыве принадлежала Рындиной. Вот что мне удалось узнать о первой жене Ходасевича:

...Он женился на Марине Рындиной, 18-летней, богатой девушке, фантастически красивой и эксцентричной до крайности. Раз она въехала верхом в гостиную отцовской усадьбы. Будучи замужем она держала у себя в доме самых странных животных, говорят, это были жабы, ужи и т.д. Наконец, на одном московском костюмированном балу, в начале 900-х годов, она появилась голая и держала в руках вазу в форме лебедя, изображая Леду и лебедя, — что, конечно, произвело скандал.

Прожил с ней Х. 2-3 года, затем Марина Р. завела роман с Сергеем Маковским и вышла за него замуж.

З.А.Шаховская. Письмо к Ю.К. от 20.03.81.

Точную дату разрыва находим у Н.Н.Берберовой, в приведенных ею заметках Ходасевича: "1907 — ...30 декабря разъезд с Мариной..." (стр.169). Нет указаний на то, что Ходасевич когда-либо пожалел о нем.

Где-то в середине этого мимолетного супружества началось увлечение картами, сохранившееся на всю жизнь. —

... азартная игра, совершенно подобно поэзии, требует одновременно вдохновения и мастерства.

...Нередко случалось мне досиживать до такого часа, когда в высоких окнах кружковской залы мутнело зимнее утро или сияло летнее.

В.Ф.Ходасевич. Московский Литературно-Художественный Кружок. — Лит.статьи и воспоминания. Издательство им.Чехова, Н.И., 1954.

Играл Ходасевич не только в бридж, но и в покер, и позже, в эмиграции, "проигрывал больше, чем зарабатывал" (З.А.Шаховская).

В начале 1911, в Италии, завершается роман Ходасевича с Евг.Муратовой (первой женой П.П.Муратова) начавшийся годом раньше и удивительным образом не поссоривший писателей. Вероятно, общей формулой брака в среде символистов было ахматовское "одиночество вдвоем". Размах промискуитета был далек от сегодняшнего, но семья была столь же эфемерна.

В этом же 1911 Ходасевич теряет мать, затем отца. Образуется "дурная полоса жизни", когда только случайность – а точнее: верность и интуиция его ближайшего друга С.В.Киссина (Муни) – спасает его от самоубийства. Айдесская прохлада набегает все чаще – но тут же и рассеивается. Ему 25 лет. Он женится вторично – на Анне Ивановне Чулковой, сестре поэта Г.И.Чулкова, ей посвящена вторая книга стихов – Счастливый Домик (1914), однако лирическая героиня книги все же Е.Муратова, а не А.И.Ходасевич.

Характерная черта второй книги, и в этом ее отличие от первой, – **с о з н а т е л ь н о е** противостояние: романтизму – с одной стороны, модернизму – с другой. Это понял и отметил Г.Чулков (Современник, 1914, № 7) и проглядел Н.Гумилев (Аполлон, 1914, № 5), однако обе рецензии замечательны своим единодушным признанием музыки Ходасевича. Гумилев называет его стихи прекрасными и сравнивает его с Анненским и Тютчевым. Чулков говорит об изысканной простоте стихов Ходасевича, "об его отречении от легких соблазнов внешней нарядности". И далее: "Точность и выразительность, как необходимые условия лирического творчества, интересуют Вл.Ходасевича прежде всего" (стр.122). В сборнике 36 стихотворений, и только одно из них, написанное в 1908, можно соотнести с символизмом. В лучших стихах слышен голос зрелого Ходасевича. –

Когда почти благоговейно
Ты указала мне вчера
На девушку в фате кисейной
С студентом под руку, – сестра,

Какую горестную скуку
Я пережил, глядя на них!
Как он блаженно жал ей руку
В аллеях темных и пустых!

Нет, не пленяйся взором лани
И вздохов томных не лови.
Что нам с тобой до их мечтаний,
До их неопытной любви?

Смешны мне бедные волненья
Любви невинной и простой.
Господь нам не дал примиренья
С своей цветущей землей.

Мы дышим легче и свободней
Не там, где есть сосновый лес,
Но древним мраком преисподней
Иль горным воздухом небес.

В поразительной по глубине и силе последней строфе Ходасевич как бы накладывает дупу на известные строки Боратынского: "Две области: сияния и тьмы / Исследовать равно стремимся мы". Нельзя и помыслить о том, чтобы списать этот повтор на подражание. Здесь обнаруживается глубокое духовное родство двух поэтов, общность и инвариантность питающего их источника. — Второе и третье (с портретом поэта работы Ю.П. Анненкова) издания Счастливого Домика, вышедшие в 1922 в издательстве З.И. Гржебина, принесли несколько почтительных и курьезных отзывов пролетарских писателей (Ин. Оксенова и др.), свидетельствующих более об инерционности мысли, чем об успехе книги.

Кусок картона, на котором в 1922 Ходасевич нацарапал для Н.Н. Берберовой конспект своей автобиографии, заканчивается словом К а т а с т р о ф а — так он обозначил свое новое и, пожалуй, последнее увлечение. Нина Николаевна Берберова, его третья жена (их брак, длившийся с 1922 по 1932, так, впрочем, никогда и не был скреплен подписями и печатями), впоследствии составила себе имя в русской эмиграции как автор стихов, прозы и драматических пьес; пока же, в 1922, у нее только одна стихотворная публикация в Ушкунниках, и ей 21. Ее имя встречаем почти в каждом письме Горького к Ходасевичу в 1922-1925. В 1961 она переиздаст итоговое Собрание Стихов Ходасевича, ставшее теперь библиографической редкостью. Человек необычайного жизнелюбия и редких способностей — тех от физиологического избытка идущих способностей, которые затруднительно ставить в пример — Берберова была ярчайшим представителем последнего и самого радикального поколения нигилистов, доставшегося XX веку в подарок от XIX-го, рудиментом рационализма в эпоху его кризиса. В своей автобиографии она предстает перед нами воинствующей атеисткой, нищенкой, обладательницей последней истины, последнего знания о жизни. Долгие годы совместного существования с Ходасевичем не входили в ее планы: роман перешел в супружество волею обстоятельств. (Любопытно, что точно так же в первые годы смотрела на свою связь с Мандельштамом Н.Я. Хазина, менее последовательный квинт того же вывода разрушителей). Покидая Россию в 1922, Ходасевич и Берберова не собирались становиться эмигрантами. Ходасевич, во всяком случае, заявил об этом с полной определенностью: "...больше всего мечтаю снова увидеть Петербург, и тамошних друзей моих, и вообще — Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои". (/о себе/. Новая

русская книга, Берлин, 1922, № 7, стр.37). Предполагаемой краткостью его выезда и можно объяснить (не не оправдать) ту легкость, с которой он оставил жену. —

Ходасевич пробыл в Москве несколько дней и два-три раза заходил к нам. В Союзе поэтов ему устроили вечер, куда собралась по тому времени огромная толпа. Его любили и любили и сейчас...

Ходасевич был весел и разговорчив. Его радовала перспектива отъезда. Он рассказывал, что уезжает с Берберовой, и умолял никому об этом не говорить, чтобы не дошло до его жены, Анны Ивановны Ходасевич, сестры Чулкова: "Иначе она такое устроит!". В испуге Ходасевича мерещилось что-то наигранное, притворное. Меня поразило, что он сматывается втихаря от женщины, с которой провел все тяжкие годы и называл женой. Мандельштам тоже поморщился, но не в его привычках было осуждать поэта: видно, так над...

Н.Я.Мандельштам. Вторая книга. Воспоминания, стр.161

Не забудем, что этот единственный в его жизни неблагоприятный поступок был для Ходасевича одновременно и катастрофой. Затем примем во внимание общий стиль жизни, свойственный тому времени. Возможно, что и Нюра Чулкова-Ходасевич (не говоря уже о Берберовой) могла повторить вслед за Н.Я.Мандельштам:

Я не понимала разницы между мужем и случайным любовником и, сказать по правде, не понимаю и сейчас... Мое поколение, собственноручно разрушившее брак, что я и сейчас считаю нашим достижением, никаких клятв верности не признавало.

Там же, стр.156.

Поэтому, отложив приговор, я завершаю свою апологетику призывом той же мемуаристики осознать "опыт нигилистической эпохи".

Берберова оставила Ходасевича в апреле 1932, в Париже, уйдя "к более богатому и предприимчивому человеку" (З.А.Шаховская, письмо к В.К. от 20.03.81) — Н.В.Макееву. Спустя примерно год Ходасевич женился на Ольге Борисовне Марголиной, племяннице М.А.Алданова, этого Пикюля первой русской эмиграции.⁹ В

⁹ Исторические романы Алданова Ходасевич называл чихатрым жанром. "Все писательское умение Алданова, явил он, имеет целью порадовать читателя тем, что цари и полководцы чихают, как простые смертные" (Л.Албихов. На чужбине. — Новый мир, 1957, № 3).

1933 ей было около сорока. Она жила с сестрой, зарабатывая на жизнь вязанием. В юности, придя к убеждению, что иудаизм — вера мужская, и женщине нечего в ней делать, она крестилась в католичество, затем, уже после смерти Ходасевича, перешла в православие и вскоре погибла в нацистском лагере, в период оккупации.

С Ниной Петровской Ходасевича

...связывала большая дружба. Московские болтуны были уверены, что не только дружба. Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли — из чистого озорства.

Некрополь

Возможно, пример этого озорства — посвященное ей стихотворение Sanctus Amor (1907):

И я пришел к тебе, любовь,
Вслед за людьми приволочился.
Сегодня стапый посох вновь
Пучком веселых лент завился.

И как юродивый счастлив,
Смотрю на пляски алых змеек,
Тебя целую в чаще слив,
Среди изречанных скамеек. /.../

Но миг один — и соловей
Не в силах довершить обмана!
Горька, крива среди ветвей
Улыбка мраморного Пана...

Если Берборова едва упомянута в двух-трех местах, притом — в воспоминаниях второго ряда, то Нине Петровской посвящена замечательная работа Конан Ренаты, открывавшая Некрополь, — работа поистине неоценимая для историков символизма (достаточно сказать, что печально известный Вл. Орлов в своем труде Переputья, 1976, цитирует из нее целую страницу — без ссылки на автора).

Пользовался ли Ходасевич успехом у женщин или только имел его?

Вчера под вечер веткой туй
Вы постучали мне в окно.
Но я не верю в поцелуй
И страсти не люблю давно.
1909

Уж тяжелы мне долгие труды
И не таят очарованья
Ни знаний слишком пряные плоды,
Ни женщин душевные лобзанья.

1918

И если (редко) женщина приходит
Шуршать одеждой и сиять очами —
Что ж? я порой готов полюбоваться
Прельстительным и нежным микрокосмом...

1919

Не верю в красоту земную
И здешней правды не хочу.
И ту, которую целую,
Простому счастью не учу.

1922

Кажется, китайская мудрость, отдавшая предпочтение дружбе перед любовью, была близка рано состарившемуся поэту.

+ + +

Самым дорогим ему человеком Ходасевич называет Самуила Викторовича Киссина (1885–1916), поэта, "всей Москве" известного под псевдонимом Муни¹⁰, обладателя "замечательных способностей, интуиции порой необычайной". История и характер их дружбы имеют большое значение для понимания Ходасевича.

Мы познакомились в конце 1905 г. ...

Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года внезапно "открыли" друг друга и вскоре сдружились. После этого девять лет, до кончины Муни, мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесною.

Некрополь

Тесная любовь эта была такова, что на ней стоит остановиться подробнее. Отличительная строгость Ходасевича кристаллизовалась в эти годы под ее немилосердными лучами. —

¹⁰Муни — на санскрите — аскет-молчальник, определение одной из стадий аскетизма. Шакья Муни — одно из имен Будды.

В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал все, что не было вполне гениально....

Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне — в первую очередь. Я шел к нему с новыми стихами. Прослушав, он говорил:

— Дай-ка я погляжу глазами. Голосом — смазываешь, прикрашиваешь.

В лучшем случае, прочитав, он говорил, что "это не так уж плохо". Но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал:

— Боже, какая дрянь! — Или:

— Что я тебе сделал дурного? За что ты мне это такое читаешь?

И начинался разбор, подробный, долгий, уничтожающий.... Должен признаться, что я относился к его присаниям приблизительно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил. Истинно, никто бы не мог сказать, что мы кадили друг другу. "Едкие осуждения" мы по совести предпочитали "упоительным похвалам".

Некрополь

Эта необыкновенная дружба разворачивалась на фоне "символического быта", в трагические, предгрозовые годы. —

Мы переживали те годы, которые шли за 1905-м: годы душевной усталости и повального эстетизма. В литературе по пятам модернистской школы, внезапно получившей всеобщее признание как раз за то, что в ней было несущественно или плохо, потянулись бесчисленные низкопробные подражатели. В обществе — тщедушные барышни босиком воскрешали эллинизм. Буржуа, вдруг ощутивший волю к "дерзаниям", накинулся на "вопросы пола". Где-то пониже плодились санинцы и огарки. На улицах строились декадентские дома. И незаметно над всем этим скоплялось электричество. Гроза ударила в 1914 году.

Некрополь

Вся эта атмосфера не могла не затронуть друзей, но в целом они были не типичны, а скорее симптоматичны для второй волны символизма. В момент знакомства оба были студентами Московского университета, но основным их занятием была учеба литературная, а ее залогом — их странный и благородный союз... Конец его был трагичен. Мобилизованный в первые же дни войны, Киссин не смог вынести ее ужасов и покончил с собой.

В предвоенные годы авторитет Ходасевича в литературных кругах Москвы быстро возрастал. За семь с небольшим лет он проделал путь от крохотных, неопределенного тембра журналов типа Зорь и Софии — через издания символистов (Гриф, Золотое руно) и Универсальную Библиотеку — до Русских Ведомостей и Русского Слова. Это было признание. Кроме стихов его почетной известности способствовали литературоведческие^{II} и критические^{I2} статьи, а также его переводы — в 1908–1914 из польских, а позже, в 1916–1918, — из еврейских, армянских, латышских и финских поэтов. Редкостный дар Ходасевича близился к своему полному расцвету, но за плечами его уже стояли судьба и история. — В 1915, в гостях, на именинах поэтессы Л. Столицы, Ходасевич упал и сместил себе позвоночник. Весной 1916 у него обнаружился туберкулез позвоночника. —

Тут зашили меня в гипсовый корсет, мытарили, подвешивали и посылали в Крым. Прожил месяца три в Коктебеле, очень поправился, корсет сняли. Следующую зиму жил в Москве, писал. На лето 1917 снова в Коктебель. Зимой снова Москва, "Русские Ведомости", "Власть Народа", Новая Жизнь"^{I3}.

/О себе/. — Новая русская книга, Берлин, 1922: № 7, стр. 36–37.

За личным несчастьем последовала общественная катастрофа, а с нею — отсутствие литературных заработков, угроза голода, голод. —

К концу 1917 года мной овладела мысль, от которой я впоследствии отказался, но которая теперь вновь мне кажется правильной. Первоначальный инстинкт меня не обманул: я был вполне уверен, что при большевиках литературная деятельность невозможна. Решив перестать печататься и писать разве лишь для себя, я вознамерился поступить на советскую службу.

Законодатель. Литературные статьи и воспоминания. Изд-во им. Чехова, Н.И., 1954.

^{II} Гр. Е. П. Растопчина (1908), Петербургские повести Пушкина (1914), Державин (1916), О "Гаврилади" (1917) и другие.

^{I2} О Цветаевой, Ахматовой, Гумилеве, Кузмине, Бальмонте, Брюсове, Вяч. Иванове, Клюеве (см., например, альманах Альциона № 1).

^{I3} Газета Горького в Петербурге (1917–1918), закрытая Зиновьевым. Статьи Горького из Новой Жизни переизданы по-английски в 1968, в Нью-Йорке, в издательстве Поль Эрикссон.

В январе 1918 поэт определился секретарем третейского суда, разбиравшего тяжбы между рабочими и предпринимателями (заводы и фабрики еще не были национализированы). Поразительной чертой пролетарского судопроизводства было наличие негласного предписания "исходить из той преюдиции, что претензии рабочих вздуты или совсем вздорны" — и решать дела по возможности в пользу предпринимателей. — Ближе к весне комиссар труда В.П.Ногин предложил Ходасевичу — ни много ни мало — заняться кодификацией законов о труде для первой в мире республики трудящихся. "Мне было очень трудно не засмеяться", признается Ходасевич. Он ответил решительным отказом и вскоре подал в отставку.

Затем была служба в Театрально-музыкальной секции Чосковского Совета, а к концу 1918, — в Театральном отделе Наркомпроса, вместе с Бальмонтом, Брюсовым, Балтрушайтисом, Вяч.Ивановым, Пастернаком. Возглавляла Театральный отдел О.Д.Каменева.

Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленные квартиры и на пустой желудок ложились спать, с укасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись.

Белый Коридор, 1937. — Литературные статьи и воспоминания.

Над пропастью во лжи — этим сегодняшним каламбуром выражалось тогда состояние не только писателей. Но ложь, а не пропасть (как другим) внушала им укасы и отвращение.

В конце лета 1918 Ходасевич, вместе с П.П.Муратовым, организовал в Москве Книжную Лавку Писателей. Создание этого культурного предприятия, вопреки сложившейся легенде, подкрепленной целой литературой, имело под собой цели не вполне возвышенные; оно "определялось бытием, а не наоборот, то есть попросту говоря возникла она потому, что писателям нужно было жить, а писать стало нигде".

Осенью 1918 Ходасевич принял предложение заведовать московским отделением Всемирной Литературы. Эта скучная, очень административная работа протянулась до лета 1920, "когда пришлось

бросить и ее: никак нельзя было выхвать рукописей из переводчиков, потому что ставки Госиздата повышались империалистически медленно, а дороговизна жизни росла трагически быстро". С середины 1919 он совмещает эту службу с заведованием Московской Книжной Палатой.

Тогда же, осенью 1918, начал он читать лекции о Пушкине в Московском Пролеткульте. Среди слушателей были Александровский, Казин, Полетаев, Михаил Герасимов (с этим последним связывались тогда большие надежды). В целом уровень студийцев был низок. Вот образцы пролеткультовской поэзии тех лет¹⁴:

П. Арский: Довольно слез и унижений,
Нет больше рабства и цепей!
Свободны будут поколения
От тирании палачей.

Самобытник:
Волнующимся стоком, как огненным током,
Забьемся мы соком весенних сердец.

Илья Садофьев:
От масс достойно избраны их первыми депутатами
В царство грядущего, как лучшие из всех,
Вселенная примет и признает только тех,
Которые к ней явятся с нашими мандатами.

Здоровый оптимизм этих строк — находка для врага революции, декадента, эстета, каковым нам предлагают считать Ходасевича. К тому же: "Подлинная стихия Ходасевича — злость", — свидетельствует Вл. Орлов (На рубеже двух эпох, ВД, 1966, № 10). Но и добрый человек мог бы тут рассердиться. — Больной, голодающий, издерганный Ходасевич относится к своей новой работе и к своим ученикам с добросовестнейшей серьезностью. —

...я могу засвидетельствовать ряд прекраснейших качеств русской рабочей аудитории — прежде всего ее подлинное стремление к знанию и интеллектуальную честность.

Пролеткульт, 1937. — Литературные статьи и воспоминания.

¹⁴ Из статьи: М. Павлов. Поэты Пролеткульта. Книга и революция. 1921, 1(13), 31-33.

Лекции Ходасевича собирали до 40 человек, лекции Андрея Белого — до 60, т.е. полный состав; лекции "идейных вождей" почти не посещались. Идея перенять мастерство Пушкина, отбросив его буржуазно-дворянское содержание, быстро вырождалась. —

... Межались. Сперва предложили ряд эпизодических лекций. После третьей велели перейти на семинарий. Перешел. После третьего же "урока" — опять надо все ломать: извольте читать "курс": Пушкин, его жизнь и творчество. Что ж, хорошо и это. Дошел до выхода из лицея — каникулы или что-то в этом роде. В Пролеткульте внутренний развал: студийцы быстро переросли своих "идейных вождей". Бросил, ушел.

/О себе/.

Ходасевич ушел из Пролеткульта осенью 1919. Этому способствовали не только естественные помехи, но и некоторая зыбкость интеллектуальной честности русской рабочей аудитории. — При Пролеткульте решено было издавать журнал Горн под редакцией самих студийцев. Для первого номера Ходасевича просили написать статью о стихах М. Герасимова, что он и сделал. (Еще в 1915 он "довольно сочувственно" отзывался о Герасимове в Русских Ведомостях.) По выходе номера обнаружилось, что все критические замечания из рецензии выброшены, оставлены одни похвалы. Ходасевич потребовал объяснений. Ему сказали, что и в таком виде редакция и сам Герасимов статьей недовольны. Герасимов перестал посещать лекции Ходасевича. Все это было не вполне обычно для русской литературы: "кумовство, даже в "гнилой" буржуазной критике не поощрялось...".

Я видел, как в несколько месяцев лести и пагубной теорией "пролетарского искусства" испортили, изуродовали, развратили молодежь, в сущности очень хорошую.

Пролеткульт

Последней каплей явилась история с неким Семергом Родным. В прошлом сионист, член московского комитета Геховера, впоследствии видный деятель ВАПП'а, редактор журналов На посту и Октябрь, он прочел на одном из собраний Пролеткульта, где присутствовал Ходасевич, свою поэму Октябрь (давшую затем название известному журналу). Поэма была перелицована: ее первый, антибольшевистский

вариант Родов лично читал Ходасевичу еще в 1917; тогда же он просил Ходасевича "сделать ему маленькую рекламу" в Русских Ведомостях или во Власти Народа. Родов был откровенным перебежчиком. Позже, в берлинской газете Дни от 22.02.25, Ходасевич писал о нем:

... Семен Родов обличал меня в сочувствии к большевикам. Посмеивался над моей наивностью: как мог я не видеть, что Ленин - отъявленный, плембированный германский шпион. Он ненавидел большевиков мучительно... В том, что большевики продержатся не более двух месяцев, Родов не сомневался.

Как раз в эти годы он и его товарищи энергично способствовали развитию болгаринских традиций в русской литературе. -

В 20-х гг донос в "На посту" означал конец писателя или поэта, смещение редактора со своего места, иногда арест, ссылку, физическое уничтожение. Журнал успешно ликвидировал троцкистов, попутчиков, символистов, футуристов и мн.др. Палачи русской литературы были: Авербах, Лелевич, Родов. Они погубили два поколения писателей и поэтов, ученых, критиков и драматургов. Позже они сами были ликвидированы, но к сожалению сейчас частично "реабилитированы".

Н.Н.Берберова. Курсив мой. Автобиография. 1972, Мюнхен, стр.671.

Вероятно, Родов и ему подобные не составляли большинства в Пролеткульте, но таковы были способнейшие, и последующее возвышение Родова не кажется случайным: он был на своем месте, в свое время. -

Время гонит толпу людей, спешащих выбраться на подмостки истории, чтобы сыграть свою роль - и уступить место другим, уже напирющим сзади.

Колеблящийся треножник. 1921.

Ходасевич продолжал бедствовать. -

Зиму 1919-20 гг провели ужасно. В полуподвальном этаже нетопленного дома, в одной комнате, нагреваемой при помощи, огня, пробитого - в кухню, а не в Европу. Трое в одной маленькой комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). С Рождества, однако, пришлось с ней расстаться: не по карману. Колол дрова, таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями... Мы с женой в это время служили в Книжной Палате: я - заведующим, жена - секретарем.

К весне 1920, выпустив "Путь Зерна", - слег: заболел фурункулезом.

/О себе/.

Путем Зерна – одна из вершин Ходасевича. Эта небольшая книга с антимодернистским названием как бы отменяет шестьдесят с лишним лет, прошедших со времени ее создания. Ни одно стихотворение из нее не удастся привязать к 1910-м годам; каждое принадлежит л ю б о м у времени, и могло быть написано сегодня.

Без слов

Ты показала мне без слов,
Как вышел хорошо и чисто
Тобой проведенный шов
По краю белого батиста.

А я подумал: жизнь моя,
Как нить, за Божьими перстами
По легкой ткани бытия
Бежит такими же стеклами.

То виден, то сокрыт стежок,
То в жизнь, то в смерть перебегая...
И, улыбаясь, твой платок
Перевернула я, дорогая.

1918

Не летейская скука, но айдесская прохлада пронизывает эти стихи. "Двенадцать строк стихотворения "Без слов" могут служить образцом зрелого и уверенного искусства" (Г.Адамович). Несомненно, второе лицо этого немого диалога – А.И.Ходасевич.

Поразительны пять стихотворений книги, написанных белыми ямбами. Такого ямба – угловатого, пресного, эпического – у нас не было ни до, ни после Ходасевича.

/.../

Да, хорошо ты, время. Хорошо
Вдохнуть от твоего ужасного простора.
К чему таиться? Сердце человецье
Играет, как проснувшийся младенец,
Когда война, иль мор, или мятеж
Вдруг налетят и землю сотрясают;
Тут разверзнутся, как небо, времена –
И человек душой неутоленной
Бросается в желанную пучину. /.../

Шуршат шаги. Горбатая старуха
С большим кулем. Морщинистой рукой
Она со стен сдирает дранки, пакля
Выдергивает. Молча подхожу
И помогаю ей, и мы в согласьи добром
Работаем для времени.

Эти ямбы отмечены многими. Так, М. Шагинян говорит об их "афористичности, подобной резьбе по камню", "важной и глубокой сосредоточенности", "графичности" (Литературный дневник, Парфенов, СПб, 1922, стр.96-99). Все эти качества становятся совершенно понятными при сравнении их с отрывком из повести, озаглавленным На Пасхе (московская газета Лизнь, 1918, № 10, 4 мая). Отрывок этот написан гекзаметром. И становится ясно, что ямбы Ходасевича - это русский гекзаметр, восходящий (минуя золотой век) к античности, к самому Гомеру.

На Путем Зерна откликнулись не только союзники, но и противники. В известной статье Промежуток (Архаисты и новаторы, Прибой, 1929, стр.547-549) Тынянов писал о Ходасевиче:

... Его стих нейтрализуется стиховой культурой XIX века... Мы сознательно недооцениваем Ходасевича, потому что хотим увидеть свой стих, мы имеем на это право. ... Это не значит, что у Ходасевича нет "хороших" и даже "прекрасных" стихов. Они есть, и возможно, что через 20 лет критик скажет о том, что мы Ходасевича недооценили.

Психология этой сознательной недооценки совершенно прозрачна - недаром Тынянов так непосредственно обнаруживает беспокойство за ее дальнейшую судьбу. Любимое (поначалу) дитя своей конструктивистской эпохи, Тынянов догадывается, что служит сиюминутному. Его темперамент оказался в резонансе с темпераментом эпохи, и антигуманитарная сущность модернизма ему в 1924 еще не была ясна.

В чем-то смыкается с Тыняновым и Г.Адамович, тяготеющий к акмеизму, однако его прекрасная по языку и мысли рецензия в целом более чем положительна. П.Губер указывает на "безупречный, необычайно острый вкус", "целомудренную сдержанность" Ходасевича и то, что "он несколько не символист и по фактуре стиха, и по поэтическим приемам принадлежит скорее к возобновляемой в наши дни Пушкинской традиции" (Поэт для немногих, Вестник литературы, 1921, № 8, стр.13). - Всего было опубликовано не менее восьми отзывов. Книга выдержала пять изданий - больше всех прочих книг поэта.

Ходасевич проболев всю весну 1920 и чудом оставая жив. Летом удалось при содействии Гершензона устроиться в санаторий - в Здравницу для переутомленных работников умственного труда, где он провел около трех месяцев. Гершензон тогда и сам отдыхал в

Здравниче, в одной комнате с Вяч.Ивановым; здесь возникла их известная Переписка из двух углов. Осенью Ходасевича ожидала новая беда. Пройдя в очередной раз медицинскую комиссию, "после семи белых билетов, еще покрытый нарывами, с болями в позвоночнике", он был признан годным в строй: предстояло прямо из санатория, собравшись в двухдневный срок, отправиться в Псков, а оттуда на фронт. Спасла случайность. Оказавшийся в это время в Москве Горький велел ему написать письмо Ленину и сам отвез его в Кремль; Ходасевича переосвидетельствовали и отпустили. Прощаясь с ним, Горький посоветовал перебираться в Петербург: "Здесь надо у служить, а у нас еще можно писать".

Ходасевич решил на переезд. Перед самым выездом комната его была подчистую ограблена. "Прикрыть наготу" помогли родные, ордер на башмаки выдал Луначарский (лакированные американские полуботинки, полученные после долгих мятарств, оказались малы и были проданы уже в Петербурге). 17 ноября он покинул Москву.

+ + +

Зоя (пройдоха величавый,
корысть занятый одной)
и литератор площадной
(тревожный арендатор славы)
меня боятся потому,
что зоя я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь свою я взвесил
на пушкинских весах, и честь
осмеливаюсь предпочесть.

В.Набоков

В Петербурге, поселившись в Доме Искусств, Ходасевич слег и оправился только к январю 1921. Этот год ознаменовался для него началом небывалого и в дальнейшем не повторившегося творческого подъема, чему способствовал самый воздух тогдашнего Петербурга, опустошенного, но прекрасного. -

... именно в эту пору сам Петербург стал так необыкновенно прекрасен, как не бывал уже давно, а может быть и никогда. ...

Москва, лишенная торговой и административной суеты, вероятно, была бы жалка. Петербург стал величествен. Вместе с вывесками с него словно сползла вся лишняя пестрота. Дома, даже самые обыкновенные, получили ту стройность и строгость, которой ранее обладали одни дворцы....

В этом великолепном, но странном городе ... жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчетливостью. ... Голод и холод не снижали этого подъема, - может быть, даже его поддерживали. ...

Дом Искусств, 1939. - Литературные статьи и воспоминания.

Именно в этот год была, в основном, создана Тяжелая Лира - его четвертая и наиболее известная книга стихов. Она сложилась менее чем за три года, в небывало короткий для Ходасевича срок, - сначала (и преимущественно) в Петербурге, в Доме Искусств, затем в Бельском Устье Псковской губернии, в колонии Дома Искусств, где поэт провел конец лета. В Тяжелой Лире Ходасевич намеренно архаизирует свою манеру. -

И с к у ш е н и е

Довольно! Красоты не надо!
Не стоит песен подлый мир!
Померкни Тассова лампада!
Забудься, друг веков, Смир!

И революции не надо!
Ее рассеянная рать
Одной венчается наградой,
Одной свободой — торговать.

Вотще на площади пророчит
Гармонии голодный сын:
Благих вестей его не хочет
Благополучный гражданин.

Самодовольный и счастливый,
Под грудой выцветших знамен,
Коросту хамства и наживы
Себе почесывает он.

— Прочь, не мешай мне, я торгую.
— Но не буржуй, но не кулак,
— Я прячу выручку дневную
— Свободы в огненный колпак.

"Душа! Тебе до боли тесно
Здесь в опозоренной груди.
Ищи отрады поднебесной,
А вниз, на землю, не гляди."

Так искушает сердце злое
Психеи чистые мечты.
Психея же в ответ: "Земное,
Что о небесном знаешь ты?"

Цель этой арханизации ясна: отмежевание от футуристов; противостояние конструктивистскому по форме и деструктивному по существу новаторству. Однако сам опыт следует признать неудачным. Это, в сущности, было новаторство наизнанку: в нигилистической атмосфере тех лет арханизмы были не просто новы, но еще и смелы до дерзости. Они задели за живое носителей нового общественного вкуса, обывателей от модернизма. В лучших же стихах Тяжелой Лиры (как было и до и после нее) нет ничего нарочитого, они светятся изнутри, истина обнажается в них с последней прямоотой:

Когда б я долго жил на свете,
Полжно быть, на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей.

Какая может быть досада,
И счастья разве хочешь сам, (1 - Ю.К.)
Когда нездешняя прохлада
Уже бежит по волосам?

Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша,
И небом невозбранно дышит
Почти свободная душа.

1921

Эти строки вызвали восхищение Андрея Белого: "Простой ямб, нет метафор, нет красок - почти протокол; но протокол - правды отстоянного душевно-духовного знания. ... вот то, что новей футуризма, экспрессионизма и прочих течений..." (Рембрандтова правда наших дней, Записки Мечтателей, № 5, 1922, стр.136-139). На обсуждении Ходасевича, зимой 1922/23, в берлинском кафе Прагерди-ле, он говорил о "виртуозной скупости слов, о том, что в стихах Ходасевича каждое слово, как в ванне Архимеда, вытесняет всю лишнюю влагу, и удельный вес звука становится совершенно точным" (В.Андреев. Возвращение в жизнь, Звезда, 1969, стр.64). Наиболее яркие стихи Тяжелой Лиры - Элегия, Баллада, "Не мать, но тульская крестьянкой" - принесли Ходасевичу некоторое подобие славч. Последнее из них он читал 2.03.1922 (в день его окончания) у Берберовой, в кругу литературной молодежи Петербурга. "... мы не читали "по кругу" - никому не хотелось читать свои стихи после его стихов" (Н.Н.Берберова. Курсив мой, стр.162). Балладу он прочел 23.12.1921 у И.М.Напнельбаум. "Не я одна была потрясена этими стихами. О них много тогда говорила в Петербурге" (Н.Н.Берберова, там же, стр.151). Но этим и исчерпываются положительные отзывы тех лет. Пролетарская литература уже набирала силу - и ничего не желала слышать о духовности.

Возможно, что Н.Асеев и вовсе не заметил бы этой реакционной книжки, если бы не статья Андрея Белого. -

... спорно выступление А.Белого с заметкой о стихах Ходасевича. (Следует цитатам из статьи Белого с искажениями и намеренными купюрами. - Ю.К.) Заявление ведь делается большим знатоком поэзии, признанным, даже недавними врагами (1 - Ю.К.), авторитетом.

(Дальше о стихах. - Ю.К.)

И эту зловещую усталую до полной импотенции, отказывающуюся от всякого движения поэзию, А.Белый рекомендует как последнюю правду и новизну? ... Тление, разложение это, а не откровение духовного мира.

Ник.Асеев. По бумажному морю. (Журнальный обзор). - Красная Новь, 1922, № 4, стр.245-247.

Год спустя тот же критик выступает уже значительно увереннее. -

Нет смысла доказывать, что дурно-рифмованным недомоганиям г.Ходасевича не помогут никакие мягкие припарки. (Приводится текст Искушения; неточностей так много, что это, по существу, п е р е с к а з, а не цитата. - Ю.К.) ... В переводе с церковно-славянского это очевидно разговор автора с редактором Гиза. ... Голодный сын гармонии в передаче значит: г.Ходасевич.

Н.Асеев. Владислав Ходасевич... Лес, № 2 (апрель-май) 1923, стр.160-161.

То же Искушение явилось объектом нападков С.Родова. Его трактовка этих стихов более стереотипна.

Как! Вл.Ходасевич против НЭПа? ... В чем дело?

А в том, что Вл.Ходасевич хочет на НЭПе отыграться. Раньше, во время революции до НЭПа мир был страшен, непонятен (вряд ли - Ходасевичу: скорее - Родову. - Ю.К.), нов, но величествен по размаху совершавшихся событий; теперь же Ходасевич предполагает, что НЭП дает ему право называть мир подлым, а раз так, то чего ему стесняться. ... Вот когда торговал буржуй и кулак, тогда буржуазный поэт не возмущался; тогда мир был "простой и целый".

Семен Родов. "Оригинальная" поэзия Госиздата. Герой не нашего времени. - На посту, 1923, № 2-3, стр.153-160.

Из восемнадцати страниц своего обзора критик семь, по старой дружбе, посвящает Ходасевичу, и одиннадцать - остальным шести попутчикам; для уничтожения Верст М.Цветаевой ему хватило и двух. (Граница на исповеди у Госиздата, стр.148-150).

В рядах новой критики находим и В.Брюсова. -

... стихи эти больше всего похожи на пародии стихов Пушкина и Баратынского. Автор учился поклассикам и до того заучился, что уже ничего не может, как только передразнивать внешность. ... Впрочем, сам поэт весьма недоволен и жизнью и самим собой. И, пожаловавшись господу-богу: "Тяжело Твой подлунный мир!" высказав желание: "П о л е н о м (у Ходасевича: Волком. - Ю.К.) бы лечь на снегу", признавшись: "Смотрю в окно - и презираю, Смотрю в себя - презрен и я (у Ходасевича: презрен я сам. - Ю.К.)!" автор, наконец, обретает минуту удовлетворения:

Здесь хорошо. Вкушает лира
Свой усыпительный покой. (Подчеркнуто Брюсовым. -
Ю.К.)

И пусть вкушает. Мы не жалеем.

В. Брюсов. Среди стихов. ... 2. Владислав Ходасевич... -
Печать и революция, 1923, № I, стр. 73-74.

Общий метод пролетарской критики: неточная цитата - затем ее же иронический пересказ. Рецензии саморазоблачительны: оппоненты приписывают Ходасевичу свои собственные низости и слабости: классовую позицию, поиск дешевой популярности, корыстолюбие.

Зато в эмиграции, с опозданием на много лет, появилась действительно замечательная (и нестаревшая) рецензия: роман Набокова Дар, один из героев которого, поэт Кончеев списан с Ходасевича. На столе у главного героя, Годунова-Чердынцева, находим Тяжелую Лиру - рядом с Бипарисовым Ларцом Анненского.

... В квартире Ходасевича (в 1932, в Париже. - Ю.К.) ... происходили те прозрачные, огненные, волшебные беседы, которые после многих мутаций перешли на страницы "Дара", в воображаемые речи Годунова-Чердынцева и Кончеева.

Н.Н.Берберова. Курсив мой, стр. 369.

Тяжелая Лира была закончена не позднее середины 1922. В июле Ходасевич пишет о ней как о готовой, но еще не появившейся /о себе/. Вероятно, ее издание осуществлялось им уже в Берлине, куда он приехал с Н.Н.Берберовой в июне 1922. -

... с февраля кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи и привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт (№ 161 - Ю.К.) на шесть месяцев сроком. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург, и тамошних друзей моих и вообще - Россию.

/о себе/.

+ + +

Годы 1921-1925 в жизни Ходасевича неразрывно связаны с Горьким. Они познакомились в 1918, при организации Всемирной Литературы. С 1921, несмотря на "разницу... литературных мнений и возрастов", знакомство это приняло характер тесной дружбы.

Если правда, что в дружбе равенство невозможно, то придется признать, что в этом странном союзе старшим партнером был Ходасевич.

вич. Горький к этому времени был самым знаменитым писателем в мире, он прямо наследовал всемирную славу Толстого, без которой и его слава была бы невозможна, — и в этом единственном смысле был преемником великого яснополянского моралиста. Для многих писателей мнение Горького было приговором. Случалось, люди заболели, получив его отрицательный отзыв¹⁵, даже частный. При всем том, подружившись с Ходасевичем, Горький оказался под влиянием человеческой и творческой индивидуальности своего молодого и малоизвестного друга. —

Я бы сказала, что перед Ходасевичем он временами благоговел — закрывая глаза на его литературную далекость, даже чуждость. Он позволял ему говорить себе правду в глаза, и Ходасевич пользовался этим. Горький глубоко был привязан к нему, любил его как поэта и нуждался в нем как в друге. Таких людей около него не было: одни, завися от него, льстили ему, другие, не завися от него, проходили мимо с глубоким, обидным безразличием.

Н.Н.Берберова. Курсив мой, стр.221-222.

Поводом к их сближению послужила уже установившаяся дружба Горького с племянницей поэта, В.М.Ходасевич, художницей, писавшей в 1918 его портрет. В 1921 она с мужем была в числе постоянных обитателей густонаселенной квартиры Горького на Кронверкском проспекте в Петербурге. "Вот это обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Литературные дела возникали и тогда и впоследствии, но как бы на втором плане." — Одним из таких дел, относящихся к 1918, было принятие Горького в только что возникший в Москве Союз Писателей. Для вступления по уставу полагались рекомендации двух членов правления, — рекомендации Горькому написал Ходасевич и Ю.К.Балтрушайтис (он еще не был тогда литовским посланником).

Открытая вражда с Зиновьевым¹⁶, "всесильным комиссаром Северной области", вынудила Горького осенью 1921 покинуть не толь-

¹⁵См.его переписку с В.А.Кавериным: Литературное наследство, т.70.

¹⁶Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких (Некрополь)

ко Петербург, но и советскую Россию. Он уехал в Германию. Ходасевич оказался в Берлине 30 июня 1922 и тотчас оповестил Горького письмом (Горький жил тогда в деревне Херингсдорф, на побережье). Так началась их переписка, длившаяся затем два года. Одна из ее половин, 32 письма Горького к Ходасевичу, является в настоящее время собственностью Библиотеки Конгресса в Вашингтоне и полностью опубликована¹⁷; другая хранится в надежном месте. В октябре 1922 Горький уговорил Ходасевича поселиться в маленьком городке Саарове, близ Фюрстенвальде, где они в тесном общении прожили до середины лета 1923. Горький вынашивал Дело Артамоновых, Ходасевич писал Поэтическое хозяйство Пушкина, вышедшее в 1924 с громадным количеством опечаток, искажений и пропусков (издательство Мысль отказалось выдать посреднику Ходасевичу корректуру для сверки). Ненадолго расставшись, писатели вновь съехались — в ноябре, в Праге, в отеле Баранек (Горький получил свою чешскую визу от самого президента Масарика). —

Однако, обоих нас влекло в захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбад. Оба мы в это время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 г., и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал оттуда 13 апреля — в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале октября мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С того дня я Горького уже не видел.

Некрополь

В основе их общения (они прожили под одной крышей более полутора лет) помимо дружбы лежали еще и деловые контакты. До 1922 в России существовала только военная цензура. В 1922 она сменилась общей, тоже крайне неуступчивой. Публиковаться стало нелегко: частные журналы и издательства закрывались. В это время в Берлине находился Виктор Шкловский, спасавшийся здесь от ареста

¹⁷

The Letters of M. Gor'kij to V. F. Xodasevič,
1922-1925. Harvard Slavic Studies, v. I, Cambridge, Mass.,
1953, 279-334.

по делу социал-революционеров (его повинная была принята осенью 1923, после чего он вернулся в Россию). Ему пришла в голову идея организовать в Берлине политически нейтральный журнал, в котором могли бы участвовать советские авторы. Горький и Ходасевич его поддержали. Базой для журнала выбрали издательство Эпоха, совместными владельцами которого были меньшевики С.К.Каплунов-Сумский и Д.Ю.Далин (в 1923 — только первый из них). —

Мы — В.Ходасевич, Виктор Шкловский и я — затеваем здесь большой научно-литературный — без политики — журнал "Эпоха".

М.Горький. Письмо к Ф.Г.Ласковой от 10.01.23. — Литературное наследство, т.70, стр.246.

Журнал состоялся под названием Беседа, предложенным Ходасевичем, под литературной редакцией Горького, Андрея Белого и Ходасевича, причем участие Белого было чисто номинальным. Просуществовал он недолго: вышло всего семь книжек, последняя в 1925. Печатались в Беседе С.Цвейг, Д.Голсуорси, Р.Роллан, Серапионовы братья. Одной из причин прекращения журнала было то, что несмотря на все усилия Горького он так никогда и не был допущен в Россию — это обострило финансовые трудности, стоявшие перед издателями; другой — то, что в середине 1925 распался союз Горького и Ходасевича, бывший реальной основой журнала.

Советское литературоведение набросило вуаль на все, что связано с Беседой и всем семилетним пребыванием Горького за рубежом. Подтасовки перемежаются здесь с прямой ложью. Утверждается, в частности, что Горький был (единственным) организатором и редактором журнала, а Ходасевич только сотрудничал в литературном его отделе. (Литературное наследство, т.70, стр.233). Все это я с легким сердцем оставил бы в стороне, если бы необходимость уяснить себе образ Ходасевича не требовала того же и по отношению к Горькому. Впрочем, некоторые факты любопытны сами по себе.

В первом же письме к Ходасевичу от 3.07.22 Горький предостерегает его от принятия каких-либо предложений, могущих последовать от журнала Накануне. Литературный отдел в нем вел А.Н.Толстой. Смено-веховское движение тогда только возникло, и отно-

нение к нему Горького было более чем неприязненное. С этим согласны и советские историки литературы. —

В сентябре 1923 г. в Берлин приезжал И. Лежнев и пытался получить у Горького рассказ для организуемого им в Москве журнала "Россия". Его поддержали Ходасевич и А. Белый. Убедая Горького дать Лежневу рассказ, Ходасевич писал Горькому, что "Россия" — журнал "независимый". Но Горького "независимость", рекламируемая Ходасевичем, не прельщала: он знал, что "Россия" — журнал смено-веховский — необуржуазный. Рассказ Лежневу он не дал.

А. Дементьев. — Архив Горького, т. 10, кн. II, послесловие.

Нельзя предположить, что А. Дементьев не прочел переписку Горького: он специалист. Он знает, как Горький дорожил политической независимостью Беседы, и приведенная цитата — простое передергивание. Знает он также и то, что неприязнь Горького к смено-веховцам в 1922–1923 шла с другой стороны. Вот что Горький писал А. Н. Толстому 20 января 1923:

Слышал, что вы ушли из "Нак/ануне/", — это очень хорошо! Но вам необходимо заявить об этом гласно, напечатав, хотя бы в "Днях" коротенькое письмецо...

Литературное наследство, т. 70.

Хорошо известно, что газета А. Ф. Кренеского Дни была открыто антибольшевистской. В истории с И. Г. Лежневым правда то, что он не получил от Горького рассказа: Горький, в знак протеста против недопуска в Россию Беседы, бойкотировал все советские журналы — и не сделал исключения для предпоследнего независимого русского издания. — Встреча с Горьким в июле 1922 объяснила Ходасевичу все: "... его отношение к советскому правительству было еще более враждебным, чем мое" (В. Ф. Ходасевич. Горький. — Современные записки, Париж, LXX, 1940, стр. 142). Советское правительство постоянно давало Горькому поводы для враждебности — прямые и косвенные. С одной стороны, Горький был хорошо информирован об общем положении дел в стране. С другой стороны, советские лидеры не всегда поощрительно отзывались о великом пролетарском писателе. В письме от 13.07.24 Горький сообщает Ходасевичу: "А товарищ Троцкий говорит, что я контрреволюционер и подстрекаю крестьянство против советского режима" (обратный перевод с английского). Но политическая ориентация Горького в эти годы была

неустойчива и быстро менялась. Его конечное примирение с советской властью было продиктовано психологической невозможностью для него разрушить массовую иллюзию: легенду, сложившуюся вокруг него как передового борца за пролетариат; его героизированную, лубочную биографию. —

... я бы не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но, влекомый обстоятельствами, славой, давлением окружающих (при нем постоянно находились эмиссары Москвы. — Ю.К.), он ее принял, усвоил себе раз навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв — в значительной степени сделался ее рабом.. ... Но я не уверен, что он любил ее.

Некрополь

В 1922–1923 Горький не выносит сменовеховцев, к середине 1925 — открыто отмежевывается от эмигрантов. Так же быстро и в то же направлении меняются и его литературные оценки, в частности — отношение к стихам Ходасевича. Это видно из его писем (Литературное наследство, т.70). —

... посылая обещанные книжки стихов; обратите внимание на Ходасевича.

(от 16.04.1922, к Е.Ф.Феррари)

Ахматова — однообразна, Блок — тоже, Ходасевич — разнообразен, но это для меня крайне крупная величина, поэт-классик и — большой, строгий талант.

(от 2.10.1922, к Е.К.Феррари)

Ходасевич пишет совершенно изумительные стихи.

(от 13.03.1923, к М.Л.Слонимскому)

По словам Ходасевича, лучшего, на мой взгляд поэта современной России... (от 15.03.1923, к К.А.Федину)

Ходасевич/, прежде всего, прекрасный поэт. Затем он действительно зол. Очень вероятно, что в нем это — одно из его достоинств, но, к сожалению, он делает из своей злобы — ремесло.

(от 31.03.1925, к М.Л.Слонимскому)

Охлаждение Горького к Ходасевичу наметилось во второй половине 1923 и затем прогрессировало. Ему способствовали эстетические и политические разногласия. Но его подлинной причиной было, несомненно, отношение Ходасевича к творчеству Горького — и, возможно, конкретная обида, с этим отношением связанная.

Авторитет Ходасевича в русском обществе в эти годы был необыкновенно высок¹⁸. Его основой была литературная и человеческая непредвзятость, безукоризненная честность, и острый, прощательный ум. Для быстро большевеющего Горького сделалась сначала неудобной, а затем невыносимой нравственная тирания Ходасевича. Он оказался в зависимости от поэта. Вот один из примеров этой зависимости. 8 ноября 1923 Горький пишет Ходасевичу:

... в России Надеждой Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский /1/ и еще многие подобные еретики. И сказано: "Отделу религии должен содержать только антирелигиозные книги". Все сие будто бы (вставка. — Ю.К.) отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой "Указатель об изъятии анти-художественной и контр-революционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя".

Сверх строки мною вписано "будто бы" — тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу "указатель".

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?

Знали бы Вы, дорогой В.Ф., как мне отчаянно трудно и тяжело!

Чувствуя потребность протестовать против "духовного вампиризма" и не решаясь на самый протест, Горький устраивает этот "театр для себя", и его первый зритель — Ходасевич. Горький оправдывается перед ним. Он забыл, что Указатель был передан ему баронессой М.И. Будберг, его секретарем, 15.08.1923 в присутствии Ходасевича и в последующие три дня с ним же обсуждался (в Гинтерстале, под Фрайбургом).

Горький считал себя реалистом, Ходасевич видит в нем романтика.

Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще — и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта о иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научились он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полу-реальный, полу-воображаемый тип благородного босняка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой. ...

¹⁸ Об этом см., например, ^{мемуары} Ф. А. Стенуна: *Verzagenes und Unvergängliches*, Мюнхен, 1947, стр. 297.

Своих мало реальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо-реалистических декораций.

Некрополь

Легко представить себе, что Ходасевич не вызывал Горького на разговоры о его творчестве, но на прямые вопросы давал прямые ответы. Вот характерный диалог из Некрополя:

- А скажите, пожалуйста, что мои стихи, очень плохи?
- Плохи, Алексей Максимович.
- Жалко. Ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать хоть одно хорошее стихотворение.

Горький умел выслушивать и принимать критику, иногда искал ее, всегда обращал внимание только на замечания, пренебрегая похвалами. Но прямота Ходасевича могла, в конечном счете, показаться ему излишней. Так, на фоне растущих политических разногласий, подкрепленная разногласиями литературными и питающаяся обидами, начала вырисовываться легенда о злом Ходасевиче. -

Зол он. И, как-то, неоправданно зол. И не видишь: на что он мог бы не злиться.

М. Горький. Письмо к Д.А. Лухотину от 13.II.1926. - Архив Горького, т.14.

Ходасевич м о г н е з л и т ь с я на Горького, создателя легенды о его неоправданной злости, когда легенда эта, подхваченная другими обиженными и литературной сворой, сделалась уже общим местом - и во многом закрыла Ходасевичу путь к русско-советскому читателю. -

В отличие от очень многих, он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался критики, так же как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности, - может быть потому, что она была настоящая, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Я не видел человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький.

Некрополь, 1936.

Ходасевич знал, что, усилиями Горького, он из "поэта-классика", противопоставляемого декадентам, всего за три года слинял в "символиста по должности". Знал - и продолжал з л о с л о в и т ь:

... Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать билет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души.

Примеры подобного рода злословия можно продолжить, бросив взгляд на других писателей, задетых в мемуарах Ходасевича. Вот его высказывание о Мандельштаме:

... это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, лень с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над одним неудавшимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим — и т.д. Не любить его было невозможно...

Дом Искусств, 1939.

О Гумилеве:

В Гумилеве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорек и тонок. В механику стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал, в суждениях старался быть беспристрастным.

Некрополь, 1931.

Даже для Брюсова, дружба которого едва не стоила ему жизни, Ходасевич находит немало добрых слов.

Может быть, поступки Ходасевича изобличают злобу или жестокость?

... сын большевика Дивильковского ... лет двенадцати, в ту зиму (1920. — Ю.К.) захворал туберкулезом; ... бедный мальчик мечтал иметь монте-кристо, случайно у меня было такое ружьишко, которое я ему и послал — в подарок от неизвестного.

Белый Коридор, 1937.

Поэт и писатель, человек глубоко религиозный, Ходасевич чрезвычайно ответственно относился к своим поступкам — и к печатному слову, которое приравнивал к поступку. На бытовое же острословие обихажутся не от хорошей жизни. И оно не может быть поводом для словоблудия и клеветы.

Со второй половины двадцатых годов началось падение Горького. Но Ходасевич и лучшая часть эмиграции, как поруганная совесть, продолжают тревожить его. Вот какие странные вещи пишет Горький в письме к М.Е.Кольцову от 19.12.1932:

Отличная идея дать статью (в журнал За рубежом. — Ю.К.) о поэзии эмигрантов. Поэзия — насквозь пессимистическая, образцы — прилагаю, вырезал из юбилейной — 50-й книги "Совр. Записок", "юбилейность" следует подчеркнуть. Но вместе с этим следует, мне кажется, обратить внимание наших поэтов на ловкость, на умение, с коими эмигранты делают из дерьма изящнейшие козюльки, тогда как наши ребята отличный материал превращают в словесное дерьмо...
... пессимизм этот весьма гимназический и — наверное — у многих поэтов является "служением традициям школы", метр (Ю.К.) которой — Ходасевич.

Архив Горького, т.10, кн.П.

Даже в лучшие свои дни Горький не был правдолюбом. Четыре строчки из Безумцев Беранже ("Господа, если к правде святой", в переводе Курочкина), угодившие в его пьесу, были, без преувеличения, девизом всей его жизни. Хорошо известно, что он не выносил дурных вестей и предпочитал им открытую ложь — свою и чужую. Ходасевич, настаивавший на том, что "истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины", уважал Горького — быть может, к несчастью для себя. Это ставило его в трудное положение. Именно уважая Горького и живя с ним в тесном контакте, он не мог, сам того не желая, не разоблачать обиходной лжи и не оспаривать слишком утопических видений золотого сна. В письме к А.П.Чапину от 13.08.1925 читаем:

Я и знаю, и хорошо чувствую, как тяжело положение писателя в современной России. Но почему-то все крепче надеюсь, что это скоро минует. ...

Может быть, это самоутешение? Не знаю. Но я "люблю верить", как на днях (в письме. — Ю.К.) упрекнул меня поэт Ходасевич. Верю же я только в человека. Только в него. Это вся моя религия, весьма мучительная, но в той же мере и радостная. Так-то.

Литературное наследство, т.70.

Ходасевич тяготился своей невольной обязанностью и страдал не меньше Горького. Разрыв назревал с двух сторон. Прекращение Бесед даю Ходасевичу повод покинуть Сорренто: 18 апреля он и Н.Н.Берберова уезжают в Париж, ставший к тому времени столицей русской литературной диаспоры.

... Ходасевич сказал мне: мы больше никогда его не увидим. И потом ... добавил с обычной своей точностью и беспощадностью:

—Нобелевской премии ему не дадут, Зиновьева уберут, и он вернется в Россию.

Н.Н.Берберова. Курсив мой, стр.220.

Формально издатели Беседы расстались друзьями и продолжали переписываться. Известны пять писем Горького: от 15, 19 и 29 мая, от 20 июля, и затем от 13 августа. На это последнее, промучавшись несколько дней, Ходасевич решил не отвечать вовсе. Как и два предыдущих, оно было пересыпано самоутожительными прожектами и мелкой просоветской ложью. Ходасевич выбился из сил, деликатно растолковывая Горькому то, что тот прекрасно знал и сам, — и, наконец, сделал решительный шаг.

+ + +

В течение всей своей жизни, исключая молодость и годы военного коммунизма, Ходасевич не имел других средств к существованию, кроме литературных заработков. При этом он понимал, что чрезмерная эксплуатация поэтического вдохновения губительна и недостойна: нельзя превращать музу в дойную корову. Поэту, как однажды (много позже смерти Ходасевича и не в связи с ним) заметил один из лучших его последователей А.Кушнер, мы бываем благодарны не только за то, что он написал, но также и за то, чего он не написал. Еще в России Ходасевич публиковал критические и жгучие статьи, занимался литературоведением, сочинил и издал детскую сказку. В 1925, декларируя себя эмигрантом, он знал, что заработки будут малы и случайны; но знал также, что они будут.

Первое соприкосновение Ходасевича с парижской эмиграцией (летом 1924) не способствовало оптимизму. Но дорога в Россию была для него закрыта: его имя оказалось в одной из первых прописки — в списке большой группы профессоров и писателей, намеченных к депортации, и добровольный выезд в начале 1922 лишь предотвратил насильственную высылку в конце того же 1922. И все-таки он долго не решался "поставить обе ноги на почву, которая считается твердой" (Н.Н.Берберова). В апреле 1925, окончательно осев в Париже, он оказался в положении более чем неустойчивом, перед лицом недоброжелательного будущего.

Литература первой русской эмиграции рисуется нам явлением искусственным и не жизнеспособным, и мы объясним это ее эмигрантской природой. Но Ходасевич помнил, что величайшие творения польской поэзии сложились в условиях непримиримой и безнадежной эмиграции, помнил, что эмигрировать собирались Державин и Пушкин, — и не считал отрыв от почвы препятствием творчеству. Его отношение к эмиграции вообще отчетливо дано в следующих высказываниях о Мицкевиче:

... лишь теперь мы можем достаточно оценить истинно-пророческое значение его основной политической концепции ... всякое политическое и культурное действие, не основанное на религиозной идее, стало ему органически неприемлемо... Безрелигиозная политика была для него лишь презренным политиканством. От эмигрантов он требовал, чтобы они себя сознавали сторонниками, идущими ко Святой земле.

К столетию "Пана Тадеуша", 1934. — Литературные статьи и воспоминания.

Слабость русской эмигрантской литературы он видел в том, что она — не в достаточной степени эмигрантская. Но и самая слабость эта была не такова, какой могла казаться в двадцатые и тридцатые годы. Представление об этой слабости возникло в рефлексирующем сознании русских изгнанников, которым хотелось, чтобы вся литература ушла из России, как некогда из Польши, и — со злорадной готовностью — было подхвачено и раздуть несклонной к рефлексии литературой пролетарской. Не забудем: Бунин, Зайцев, Куприн, Ремизов, Ходасевич, Г.Иванов, Одоевцева, Адамович, Цветаева, Набоков — были эмигрантами; последние двое целиком сложились в эмиграции; Ходасевич написал в изгнании свою лучшую прозу и большую половину стихов своего итогового сборника. Вспомним, насколько это в наших силах, погубленное поколение: Б.Поплавского, В.Смоленского, А.Ладинского, Аниу Присманову, Иригу Кнорринг, Берберову, Шаховскую, А.Гингера, Ю.Мандельштама, Илью Зданевича, Б.Божнева, Б.Фельзена, В.Вейдле — всех тех, кого русская литература в той или иной степени принесла в жертву русской революции. И тогда, возможно, не покажется чрезмерным преувеличением мысль о том, что литература первой эмиграции вполне сопоставима с советской, взятой на том же временном интервале.

В Париже, отказавшись видеть в прекрасном полеане, поэт и историк литературы становится, по преимуществу, литературным кри-

тиком: сначала в газете Дни (с 1925 издававшейся в Париже), затем в газете П.Н.Милюкова Последние Новости и, наконец, с 1927 до дня своей смерти - в газете Возрождение, где, вместе с Алдановым, заведует литературным отделом. Одновременно он печатается и в других газетах и журналах, которых тогда было много. Важнейшим изданием эпохи был журнал Современные Записки, который редактировал М.В.Вишняк, И.И.Бунаков-Фондаминский и Вадим Руднев. Он просуществовал 20 лет: с 1920 до 1940. Культурное значение его было таково, что в настоящее время многие западные библиотеки обсуждают вопрос о переиздании всех семидесяти (!) томов этого журнала. Его полный комплект нельзя достать ни за какие деньги.

Ходасевич был в числе немногих писателей старшего поколения, видевших в молодежи не конкурентов, а смену.

В газету "Возрождение", как и в журнал "Современные Записки", Ходасевич привлек целую плеяду молодых эмигрантских поэтов и писателей. ... Вокруг него, как поэта и критика, группировалось все то, что было наиболее талантливым среди "нового поколения" и что оказалось впоследствии наиболее жизнеспособным в условиях эмиграции. Эта жизнеспособность отличает сейчас (в 1954. - Д.К.) окружение Ходасевича от тех, кто группировался вокруг Марины Цветаевой и "Цеха Поэтов".

Н.Берберова. Предисловие к: В.Ф.Ходасевич. Литературные статьи и воспоминания.

О том пиетете, которым окружено в эти годы имя Ходасевича, дает представление роман Набокова "Дар", один из обаятельнейших героев которого поэт Кончеев наделен чертами несомненного портретного сходства с Ходасевичем. Признание, однако, не спасало от бедности и унижений. Документы апатрида закрывали перед ним право работать на жалованье, принадлежать к пролетариям или служащим. Французские журналы не хотели и слышать о сотрудничестве с русскими эмигрантами: все они без разбора расценивались как буржуазные акулы, бежавшие от справедливого народного гнева.

В 1925-1935 годах, несмотря на самоубийства Есенина и Маяковского, на трудности Бренбурга, на исчезновение Пильняка, на слухи о беспокойстве Горького, вера в то, что СССР несет молодому послевоенному миру и в особенности левому искусству обновление, поддержку, необозримые перспективы, была на Западе сильнее всех колебаний и сомнений.

Н.Н.Берберова. Курсив мой, стр.325.

Оставалась эмигрантская пресса, с ее ожесточенной конкуренцией и расчетом на массового читателя. Дон Аминадо, Лоло (Мунштейн), Таффи, а затем и Берберова пользовались неизмеримо большей популярностью, чем Ходасевич, а значит — и всеми вытекающими отсюда преимуществами. Бедность была устрашающей: 40, а то и 30 франков в день на двоих, что ощутимо ниже той нормы в 60 франков, которая обеспечивала, по Хемингуэю, скромное, но сносное существование вдвоем в эти годы. Берберова в своей автобиографии по счёту приводит предметы домашней утвари, которыми они располагали.

Молодость легко справляется с подобного рода трудностями. Ходасевич уже немолод и тяжело болен. Он плохо спит, много кашляет, его мучают долгие боли где-то глубоко внутри — доктор М.К. Голованов, лечивший его бесплатно, полагает, что это печень; туберкулез позвоночника подлечен, но то и дело возвращается фурункулез: зима 1920 не прошла для него даром. Лечение почти не приносит результатов. При всем том ему нужно работать.

"Постепенно он все меньше писал стихов и все больше становился критиком" (Н. Берберова). Здесь мы касаемся второй части легенды, сложившейся вокруг Ходасевича: отрыв от почвы, жалкое положение эмигранта, — погубили в нем поэта.

В эмиграции колдуны умирают от голода духовного. ... Вл. Ходасевич, переехав в Париж, тоже печатно заявляет о своей эмигрантской благонадежности.

М. Горький. Письмо к К.А. Федину. от 17.08.1925.

Ни у одного из наших больших поэтов полосы молчания не были окончательными. Того же, конечно, нельзя сказать и о Владиславе Ходасевиче, хотя его молчание как поэта страшной и мучительней, чем у кого бы то ни было. Ходасевич умер в 1939 году. За последние двенадцать лет своей жизни он написал с десяток не лучших своих стихотворений.

В. Андреев. Возвращение в жизнь. — Звезда, 1969, № 6.

Горестное существование эмигранта подкосило Ходасевича. Газетная работа спасала от полной нищеты, но не давала возможности заняться своим делом, делом писателя.

Вл. Орлов. Перепутья. Из истории русской поэзии начала XX века. М., Художественная литература, 1976.

Все эти высказывания грубо тенденциозны. Стоит ли напоминать читателю о судьбах внутренних эмигрантов и правых попутчиков? Ходасевич до последнего дня зарабатывал себе на хлеб литературным тру-

дом, не служа никому — ни прямо, ни косвенно; он умер в 1939 своей смертью, и — без малейших признаков ностальгии. Последнее обстоятельство так и осталось загадкой для тех, кому было и есть что терять, — и кто в наши дни пишет слово родина с большой буквы. —

Умер Ходасевич незадолго до войны. Он был типичным представителем "искусства для искусства". В отличие от Бунина и Куприна, от Шаяпина и Алекина, он тоски не испытывал (разрядка моя. — Ю.К.), так как жил фикциями, не сознавая, что индивидуализм, который он проповедывал, обедняет, сковывает его поэтические возможности. "В собственном соку" ему было хорошо, потому что он не знал подлинного простора.

Л. Любимов. На чужбине. — Новый мир, 1957, № 3, стр. 165.

Слог выдает писателя с головой: ему можно не возражать. Замечу лишь, что Л. Любимов, как и В. Андреев, проявляет в своих воспоминаниях трудно объяснимую непоследовательность, которую не списать даже на редакторские вторжения. Чувствуется, что оба в глубине души восхищаются Ходасевичем, но это — опасное восхищение. Таков же Вл. Орлов в своих литературоведческих статьях. Но мысль, высказанная Любимовым в приведенной цитате, кажется вполне правильной. Несомненно, фикция, т.е. художественная литература, а точнее — русская поэзия, была подлинным отечеством Ходасевича, его духовной родиной. Сохранился набросок стихотворения, воспроизведенный Берберовой по памяти и относящийся к 1922:

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки сь землей родимой
Мне мой отец не завещал.

России пасынок, и Польше
Не знаю сам, кто Польше я,
Но восемь томиков, не больше, —
И в них вся родина моя.

Вам под ярмо подставить выю
Иль жить в изгнании, в тоске,
А я с собой мою Россию
В дорожном уношу мешке.

Речь идет о восьмитомнике Пушкина, чуть не единственном имуществе, вывезенном Ходасевичем за рубеж. Ломоносов, Державин, Пуш-

кин, образы, приводимые в движение этими (и другими) драгоценными именами, несомненно, значили в его понимании родины больше, чем вся география и политика современной ему России, вместе взятые.

Ему (П.А.Вяземскому. — Д.К.) посчастливилось войти не только в историю России, но и в ее миф, в то предание о России, которое для нас, быть может, реальнее самой России. Все можно вырвать или вычесть из нашей памяти, но Медного Всадника, но украинской ночи, но Тани Лариной мы не забудем.

"Щастливый" Вяземский, 1928. — Литературные статьи и воспоминания.

Кажется, вполне очевидным, что и эта, вторая, часть бытующего представления о Ходасевиче неверна. Не эмигрантская, а человеческая его судьба сложилась так, что стихи постепенно уступили место прозе ... — и какой прозе!

За эти годы поэтического молчания он написал три книги: биографию Державина — по-моему, лучшее, что о Державине было написано; злые (? — Д.К.), удивительно меткие и неприятные (? — Д.К.) воспоминания "Некрополь"; интереснейшие статьи о Пушкине, вышедшие в издательстве "Петрополис" в Берлине (в 1937. — Д.К.) отдельной книгой, и целый ряд литературных статей. О некоторых из них лучше не вспоминать: его статья, посвященная Маяковскому, настолько пристрастна и груба (это неверно; но пусть бы и так — можно ли вообще упрекать кого бы то ни было в грубости, говоря о Маяковском? — Д.К.), что она бьет гораздо больше по самому Ходасевичу, чем по тому, кого он хотел уничтожить. Стихи же ему изменили, и с этой изменой он ничего не мог поделать.

В.Андреев. Возвращение в жизнь.

Автор приведенных строк, сын Леонида Андреева, больше всего на свете, по его собственному признанию, хотел стать русским писателем, для этого и взяв (в 40-х годах) советский паспорт, однако в СССР не поехал, а определился при секретариате ООН. Его воспоминания принадлежат к лучшим воспоминаниям репатриантов. Но и в них, в той их части, которая касается Ходасевича, поражает недобросовестное отношение к материалу, обилие неточных цитат, и какое-то необъяснимое победительное злобредство. Знает ли советский читатель, к которому обращается В.Андреев, статью Ходасевича о Маяковском? Не следует ли привести хотя бы основной тезис работы, о которой так уничижительно отзывается? Статья эта невелика. В ней показана психология вставания Маяковского в пролетарскую культуру, его путь от эпатажа обществен-

ного мнения до открытого конформизма. Ходасевич считает, что титул Поэт революции – маска, скрывающая приспособленца, державшего нос по ветру. Приспособленец не всегда понимает свои настоящие мотивы, но глупость – не оправдание для поэта. Любопытно следующее наблюдение: Маяковский предал футуризм, взорвал его изнутри, подменив на глазах у своих наблюдательных соратников отрицание смысла – огрублением формы. Мало кто мог тогда так понять Маяковского. Нам, спустя полвека, многое виднее. Вот слова Г.С.Померанца, сказанные не о Маяковском, а о его менее талантливых современниках:

Странная вещь – поэзия. Нельзя сказать, чтобы она не продавалась: продается с готовностью, с жадностью голодной девки. Но как-то так получается, что все купленное тут же становится золой.

(Цитирую по памяти, следуя обыкновению самого Г.С.) – Перед могилами (следует перечисление известных революционеров) не преклонишься, говорит Ходасевич. – Прошли времена, когда к противнику, даже к врагу, можно было испытывать почтение. "И вот – нет Маяковского. Но где я возьму уважение к нему?" Другая статья о Маяковском, Декольтированная Лошадь, вконец испортила некогда дружеские отношения Ходасевича с Р.О.Якобсоном, "формалистом и неисправимым романтиком" (Берберова).

Мы видели, как воспринимали поэтическое молчание Ходасевича недоброжелатели. Иначе отнеслись к нему друзья. –

... На 50-летнем юбилее Ходасевича видела весь Монпарнас... Подарила Ходасевичу хорошую тетрадку "для новых стихов" – может быть – запишет, т.е. сызнова начнет писать, а то годы, – ничего, а – жаль.

М.Цветаева. Письмо к З.А.Шаховской от 5.06.36. – Отражение.

Дружба двух поэтов обозначилась только в 30-е годы.

Ее (Цветаевой. – Ю.К.) отношение с Владиславом Ходасевичем, единственным равным ей среди живущих за границей русских поэтов, были сложными – симпатия смешивалась в них с неприязнью. Отношение Ходасевича к ней также было неоднородным, и только в последующее десятилетие (т.е. в тридцатые годы. – Ю.К.) эти два несхожих поэта, ощущавшие все более глубокую изоляцию в новой литературной среде, нашли общий язык.

С.Карлинский. Марина Цветаева, 1986. – Пер. с англ. Е.Янушевича, Часн. № 16; 1979, стр.209.

Но сам Ходасевич не дал нам ни малейшего повода думать, что трагедия утраты поэтического голоса он переживал тяжелее, чем трагедию человеческой жизни. В следующем стихотворении, написанном в 1924, он спокойно, с улыбкой, предсказывает свое молчание и связывает его разве лишь с утратой молодости, а с ним — и это удивительно — связывает новые надежды. —

Пока душа в порыве юном,
Ее безгрешно обнажи,
Беспечно вверх болтливым струнам
Ее святые мятежи.

Будь нетерпим и ненавистен,
Провозглашая и трубя
Завоеванье новых истин —
Они ведь новы для тебя.

Потом, когда в своем наты
Разочаруешься слегка,
Воспой простое чаепитье,
Пыльцу на крыльях мотылька.

Твори продуманно и стройно,
Слова послушливые гни,
И мир, обдуманный спокойно,
Благослови иль прокляни.

А под конец узнай, как чудно (1 — Ю.К.)
Все вдруг по-новому начать,
Как упоительно и трудно,
Привыкши к слезу, — замолчать.

В. Андрееву и Вл. Орлову следовало бы признать, что эти стихи мало похожи на жалобу. А будущему исследователю творчества Ходасевича, вероятно, небесполезно будет сопоставить их с известными стихами Пастернака:

Есть в творчестве больших поэтов
Черты естественности той,
Что невозможно, их изведав,
Не кончить полной немотой.

В родстве со всем, что есть, уверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту —

— и, одновременно с цитированным мною на стр. 235 пророчеством Горького о Пастернаке (в письме к Е.К. Феррари от 10.10.22):
"...таштит ... поставит его на трудный путь Ходасевича — путь Пушкина". Пастернак, несомненно, знал о нем.

В 1927, в издательстве Возрождение, выходит итоговое Собрание Стихов Ходасевича. В него включены две последних книги: Путем Зерна и Тяжелая Лира, а также новые стихи под общим заглавием Европейская Ночь. Конечно, именно эта часть, целиком написанная в эмиграции, должна свидетельствовать об упадке, качественном и количественном. Доказательство по первому пункту (качество) доставит критику большие затруднения: слишком явственно окреп голос позднего Ходасевича, никогда его своеобразная индивидуальность не проявлялась в стихах в такой рельефной целности и полноте. —

П е т е р б у р г

Напастям жалким и однообразным
Там предавались до потери сил.
Один лишь я полуживым соблазном
Средь озабоченных ходил.

Смотрели на меня и забывали
Клокочущие чайники свой;
На печках валенки сгорали;
Все слушали стихи мои.

А мне тогда в тьме гробовой, российской,
Являлась вестница в цветах,
И лад открылся музыкальный
Мне в сногшибательных ветрах.

И я безумел от видений,
Когда чрез ледяной канал,
Скользя с обломанных ступеней,
Треску зловонную таскал,

И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.

1926, 18 декабря.

Вл. Орлов придает, пожалуй, излишне аллегорический смысл II-й и 12-й строкам этого стихотворения: "музыкальный лад" открылся ему в "сногшибательных ветрах" революции (? — Д.К.). Почему — революции? Стихи воссоздают картины 1921 года. С большим успехом можно предположить, что о революции говорится в первых двух строках.

Вторя друг другу, В. Андреев и Вл. Орлов делают очень похожие ремарки к последней строфе Петербурга:

(Утверждение, кстати, ни на чем не основанное — никакой "классической розы" ни к советскому, ни к эмигрантскому (? — П.К.) дичку Ходасевич не привил.)

В.Андреев. Возвращение в жизнь. 1969.

(Другое дело, что претензии эти были неосновательными: стиль советской поэзии слагался в двадцатые годы совсем на иных путях.)

Вл.Орлов. Перепутья, 1976.

Оба критика обнаруживают, тем самым, хорошее знакомство с современным состоянием поэзии: оба понимают, что советская романтическая поэзия двадцатых годов мертва, а преемники Ходасевича обнаружались в 60-х и в 70-х годах. Но в данном случае как раз вряд ли стоило так буквально понимать поэта и так энергично возражать ему — с тем же успехом можно оспаривать у т в е р ж д е н и е другого поэта о том, что на Красной площади всего круглой земля.

Обратимся ко второму, количественному, признаку.

"Европейская ночь", в которую вошли стихи, написанные Ходасевичем за пять лет (1922-1927), совсем небольшая книжка: в ней всего двадцать девять стихотворений.

В.Андреев. Возвращение в жизнь.

Существуют разные мнения о том, что такое книга стихов. Евгений Баратынский, например, включает в свои Сумерки 26 стихотворений, содержащих 570 строк. В итоговом сборнике Ходасевича (в посмертном переиздании, 1961, он значительно дополнен стихами двадцатых и тридцатых годов, но авторская структура трех книг сохранена) находим следующую статистику:

Путем Зерна —	34 стихотворения, 819 строк;
Тяжелая Лира —	47 стихотворений, 801 строка;
Европейская Ночь —	29 стихотворений, 942 строки:

Видно, что объем книги — совершенно обычный для Ходасевича и даже несколько превышает объем двух предыдущих книг (которые, к слову сказать, для издания 1927 года подверглись переработке: в Путем Зерна добавлено 4 стихотворения, исключено 9; в Тяжелую Лиру добавлено 7 стихотворений, исключено 3; стихи перегруппированы). Обычен и срок, в который она сложилась: интервал между первыми тремя книгами Ходасевича (1908, 1914, 1920) — шесть лет.

Поразительно другое. Составляя свою итоговую книгу, Ходасевич отмечает все ранние стихи, входившие в Молодость и Счастливый Домик (исключение сделано лишь для стихотворения Акробат, написанного в 1913, но окончательную редакцию получившего в 1921). Между тем среди них есть замечательные, не уступающие поздним. На крайней мере два стихотворения, непостижимым образом исключенные из последней редакции Путем Зерна (Рыбак и Сердце), таковы, что их утрата нанесла бы ощутимый урон не одному только Ходасевичу, но, смею сказать, русской музы в целом. Вот второе из них, судите сами:

Забвенье — сознание — забвенье...
А сердце, кровавый скупец,
Все копит земные мгновенья
В огромный свинцовый ларец.

В ночи ли проснусь я, усталый,
На жарком одре бредовом,
Оно, надрываясь, в подвалы
Ссыпает мешки за мешком.

А если глухое биенье
Замедлит порою слегка —
Отчетливей слышно паденье
Червонца на дно сундука.

И много тяжелых цехинов,
И много поддельных гиней
Толпа теневых исполинов
Разграбит в час смерти моей.

1916.

Пожалуй, только трое из великих русских поэтов не были графоманами: Баратынский, Тютчев и Ходасевич. Но и в этом ряду строгость Ходасевича к себе беспримерна и граничит с жестокостью. Некоторых она восхищает. Другим дает повод для самодовольного резонерства:

Охваченный унижением паче гордости, он утверждал, что ему не нужно будущего и что у него остается впереди одно прибежище — могила на Ваганьковском кладбище, в родной (разрядка моя. — Д.К.) Москве. Но и в этом судьба отказала поэту, разомкнувшемуся со своим народом: он умер в Париже, в больнице для бедных.

Вл. Орлов. Перепутья.

Больница для бедных, в Париже! Вот удел буржуазного поэта. Но этого мало:

В судьбе Ходасевича, в самом его облике есть нечто трагическое. Он выбрал себе в удел одиночество и литературу, осмелился пойти уединенным и трудным путем, по-своему, в одиночку, воодушевляясь, ожесточаясь и мучаясь. Пример Ходасевича поучителен как пример одаренного поэта, пытавшегося противустать (I - Д.К.) потоку жизни и общему движению искусства.

Вл. Орлов, там же.

Мировая традиция с благодарностью относится к художникам, выбравшим "одиноким и трудным путем" и противостоящим "общему", т.е. массовому, снижающему "движению искусства". Только подлинный индивидуализм, означающий личную ответственность за все и всех, делает писателя совестью своего народа. Шагающее вперед и в ногу соколиное племя пользуется коллективной ответственностью, при которой никто ни за что не отвечает, и все вместе хорошо повинуются начальственным крикам.

Ходасевич умер в возрасте 53 лет, 14 июня, в шесть утра, в частной клинике на улице Университе, спустя тринадцать часов после полторачасовой операции. Вероятная причина смерти - рак поджелудочной железы. Хирург не успел до него добраться: чистил от камней желчные протоки. Операция опоздала на десять лет. Незадолго до нее Ходасевич лежал на обследовании в городском госпитале Брюсселя (с 25.05 по 8.06). Этот госпиталь Вл. Орлов и называет больницей для бедных¹⁹.

16-го июня, в 1.45 состоялось отпевание в русской католической церкви на улице Франсуа Жерар, где присутствовало несколько сот человек, и затем похороны - на кладбище в предместье Бьянкур, также при большом стечении народа. Среди несших гроб были В. Вейдле, В. Смоленский и Юрий Мандельштам.

В Советском Союзе эта смерть прошла незамеченной. Вряд ли и в эмиграции была в достаточной степени сознаана тяжесть потери, понесенной русской культурой. Однако весть о ней все же обошла страницы эмигрантской прессы от Эстонии до Австралии. Теперь, по прошествии 42-х лет, напоминание об этой кончине вдали от родины может послужить нам темой для скорбных раздумий, а имя поэта - темой для воодушевления и надежды.

Январь-май 1981

¹⁹Сотстав из идеологических побуждений, литературовед Вл. Орлов попутно и крайне неловко совершил идеологический же просчет: р я д о в у ю городскую больницу Парижа он назвал больницей для бедных. Задумчивый иностранец, прочтя эти строки, может спросить: а нет ли в СССР больницы для не бедных?